



AMETO



Перевод прозы Г. Муравьевой

Перевод стихов А. Эппеля

КОМЕДИЯ ФЛОРЕНТИЙСКИХ НИМФ

*Здесь начинается комедия
флорентийских нимф*

I

Разнообразные события, необычайные превратности жизни, изменчивые милости фортуны постоянно вносят тревогу и томление в души живущих: оттого-то одним отрадны рассказы о кровопролитных битвах, другим — о честолюбивых победах, третьим — о мудром заключении мира, а четвертым — о любовных делах. Одни — таких много — с охотой слушают о тяготах и бедствиях Кира, Персея, Креза и прочих; ведь если знаешь, что не тебе первому и единственному пришлось худо, легче сносишь собственные невзгоды. Другие, удачливые в стяжании благ, горделиво тешат ум рассказами о великих подвигах Ксеркса, богатствах Дария, щедрости Александра, счастливым возвышении Цезаря и, точно для того, чтобы потом рухнуть с большей высоты, постоянно устремляют помыслы к высокому, избегая смиренного. А третьи, рапечные двоевидным сыном Венеры, обретают утешение или отраду в любовных историях древности — в который раз с вождедеющим сердцем похищают Елену, разжигают любовь Дидону, оплакивают Гипсипилу и замышляют обмануть Медею. Но павший не подыметя, пайдя товарищей по несчастью; время, как ни медли, не остановится; взнесенный фортуной не удержит своего счастья, цепляясь памятью за чужое; и только читая о прошлой любви, с тем большей охотой разжигаеться новой любовью: вот

почему я, с должным почтением служа Амуру, и никому более, воедино собрал здесь разрозненные усилия, в надежде, что, обдумав мой труд, никто не станет хулить восхваляемого мною. Сострадательный сып Цитереи, в ее водах закаляющий стрелы, извлекает из жаркой груди людей вздохи иные, нежели Рамнузия: те вздохи вызваны злополучной долей, эти — надеждой на желанную радость; те говорят о постылой холодности, эти — о любовном жаре. Амур — наставник и учитель жизни, он изгоняет из сердец легкомыслие, жестокость и алчность и бдительно заботится о том, чтобы его подданные были деятельны, великодушны, щедры и украшены любезностью; всех, кто служит ему верой и правдой, он приводит к радостному концу, осияв лучами своей звезды, и вознесенные им не боятся крушения. Много похвал сведя воедино, скажем, что силой его движется небо, его вечным законом направляются звезды, а в живущих укрепляется воля к добрым делам. О любви с охотой слушал бы Крез в огне, Кир в крови, Кодр в бедности, а Эдип в вечном мраке. И Марс, внимая любовным историям, сложил бы оружие или, если надо, пустил в ход с большим рвением; Паллада и та, слушая о проделках Амура, порой так смягчается душою, что прерывает излюбленные занятия; и мощная Минерва укрощается, слушая о любви; и холодная Диана теплеет, и Аполлон пламеннее шлет стрелы. Что же еще? Сатиры, нимфы, дриады, наяды и прочие полубоги, служа Амуру, обретают благообразие — словом, его дела всем по душе. Найдется ли здравый ум человек, который ради иной заботы откажется служить под началом такого вождя? Нет, конечно, а если найдется, то уж, верно, это буду не я. А раз я ему служу, как я и делаю в угоду своей душе ради дамы, прекраснее коей не создала ни мудрая природа, ни изощреннейшее искусство, то мне пристало воспеть не триумфы Марса, и не разнузданность Вакха, и не изобилье Цереры, а победы моего властелина. Имн полнится земля и небо; счесть их труднее, чем звезды или морской песок. Поэтому голосом, подобающим моему скромному состоянию, не боясь упреков, не как поэт, но как влюбленный, воспую я свою даму. И, обойдя молчаньем то время — как будто его не бывало, — когда Любовь, может быть несправедливо, казалась мне мученьем, — чтобы одарить надеждой тех, кому она мученье теперь, и возрадовать тех, кто счастливо владеет сим благом, я на свой лад расскажу о сокровищах, какие

мне, недостойному, были явлены на земле. И да впемлют
мне любящие, до прочих мне нет дела, пусть предаются
своим заботам.

II

Орфея встарь подвигнувшая сила
сойти за Эвридикою в Аид
желанную подругу возвратила

тому, кто улестил угрюмый Дит
своей кифары сладостным звучаньем;
святая сила мне теперь велит,

исполпившись и дерзостью, и тщаньем,
твой, Цитерея, восхвалить завет
и твой чертог прославить величаьем.

Во имя Неба, где среди планет
сияешь ты, прекраснее стократно,
чем та, которой Феб дарует свет;

и ради Марса, чья беда попятна,
и бедного Энея, и того,
кто всех тебе милее, вероятно, —

от Мирры получила ты его;
и в честь огня святого, чей служитель,
пою причину пыла моего,

когда твоя счастливая обитель
за Солнцем, где живет могучий бык,
Европы легковерной похититель,

ты позаботься, чтоб и я постиг
с достойной силой сил твоих истоки,
и сообразный чувству дай язык,

который бы достигнул подоплеки
и описал божественность твою,
дающую столь дивные уроки.

Еще Эроту славу воздаю
и стрелы золотые, и победу
над Аполлоном радостно пою;

прошу его, счастливица-непоседу,
я ради нимф (но вряд ли хоть одна
такому приглянулась сердцееду

или в любовный список внесена),
молю его и пощю я, и денно
в моем убавить сердце пламепа

от пылких стрел — иначе непременно
зажженный ими сладостный педуг
меня дотла испепелит мгновенно.

Пускай уж лучше повествует дух,
не побежденный страхом и свободный,
то, чем пленились и глаза, и слух.

А ты, что красотой благородной
нежна, ясна, прелестна и славна,
благая донна, светоч путеводный,

кому душа верна и предана
настолько, что не мыслит о награде
и счастьем среди мук упоена,

моли богов — твоих молений ради
всё ниспослать готовы небеса;
но ты проси не о земной усладе,

а чтобы тот, кому твоя краса
огнем неутолимым сердце гложет,
твой сумел восславить чудеса.

Ужели кто из олимпийцев может
божественной такой не внять мольбе?
Любой бессмертный тотчас же предложит

среди бессмертных место и тебе,
и ты тогда из горнего чертога
ко мне склопись и призови к себе;

хоть значу я не очень-то и много,
но без тебя мне и надежды нет;
пробудь со мной, опора и подмога,

подай мне благодетельный совет,
а я, руководим твоим указом,
прославлюсь между тем на целый свет.

Ты видишь — пламенеет пылкий разум
и ждет поддержки, к прочим божествам
он равнодушен, раб твоим приказам;

и, уподобив дивным волшебствам,
я помощь ту сочту небесным даром
и силу страсти передам словам;

и докажу, что скаречно недаром
Юпитер прочих красотой дарил,
глаза твои переполняя жаром,

и расточителен в щедротах был,
тебя даря прелестным окруженьем,
которое я, недостойный, зрил,

меж тем как птицы дивным песнопеньем
с цветущих лавров оглашали луг,
и был изящен речью и движеньем

тебе во всем сопутствующий круг,
вкушающий беспечности щедроты,
в делах любви исполненный заслуг;

и вот я жду благой твоей заботы,
чтоб крепче сладилась строка к строке,
а слогу моему прости просчеты —

пишу таким, какой мне по руке,
себе ища твоей хвалы сердечной,
тебе — хвалы на всяком языке

во славе неземной и вековечной.

III

В Италии, затмевающей блеском дольные страны,
лежит область Этрурия, ее средоточие и украшение,
а в ней — богатой городами, славной благородными племенами,
всюду украшенной замками и нарядными селепьями,

обильной тучными пивами — в срединной и счастливейшей части ее благословенного лона к самым звездам вознесся плодородный холм, древними прозванный Коритом еще до того, как взошел на него Атлант, первый его житель. Склоны холма меж высоких круч густо поросли лесом из буков, елей, дубов, простирающимся до самой вершины. Справа от него бежит по камням светлый ручей, рожденный в благодатных недрах соседних гор, говором струй оживляющий долину, куда прибыв, после недолгого бега теряется он вместе с названием в водах Сарно. В лесных рощах по склонам Корита таятся отрадные поляны, прохладные тени и рыщут хищные, быстрые, свирепые звери; многоводные ключи в разных местах орошают свежис травы. Там скитался молодой охотник Амето, гостя у фавнов и дриад, обитателей чащ; сам, должно быть, происходя от древних жителей окрестных холмов, как бы памятуя о кровном родстве, он оказывал почести лесным божествам; за то и они дарили его покровительством, когда, в охотничьем пыле, он преследовал в дебрях пугливых зверей, пока Аполлон пребывал высоко над землей. Редко случалось так, чтобы примеченный им зверь — благодаря ли быстроте погони или хитроумным уловкам — не был ранен его луком или настигнут собаками, либо, пзнемогший, не попал в засаду или не запутался в тенетах; оттого всякий раз Амето являлся к жилищу, отягощенный добычей. Однажды, преуснев больше обычного в излюбленной забаве, радостный, со всех сторон обвешанный дичью, он возвращался со сворой домой и, сбжав по склону холма, очутился в приятной долине, близ того места, где пересекаются струи Муньопе; здесь, устав от долгого пути, тяжелой ноши и гнетущего зноя, он сложил под раскидистым дубом богатый трофей, простерся всем телом на молодой траве и подставил закрубелую грудь мягким дуновениям ветерка; с лица отер грязный пот жесткой ладонью, пересохшие губы увлажнил росистой зеленой листвою и, вновь обрета бодрость, стал поддразнивать собак, то одну, то другую, и с ними кататься по лужайке; потом вскочил на ноги и, перебегая с места на место, принялся таскать их за загривок, за хвост, за лапы; тотчас резвая свора вцепилась в него со всех сторон и не раз повергала в гнев, вырывая клочья небогатой одежды; потом затеял новую потеху: то повалит собак навзничь, то им себя подставит. И так в забаве проводил он время — а жар все не спадал, — когда до его слуха донесся с ближ-

пего берега прелестный голос, певший неведомую песнь. Немало тому подивившись, он подумал:

«Не боги ли это сошли на землю, сегодня как раз тому были предвестья, но я им не поверил: рощи больше обычного полны были дичью, Феб жарче изливал на землю лучи, ветерок скорее прогонял истому, травы и цветы казались пышнее, возвещая их приближенье. Должно быть, разомлев от зноя, они, как и я, избрали поблизости место для небесных услад, звуком голоса посрамляя земные. Как бы хотелось взглянуть на них, узнать, так ли они прекрасны, как говорят люди. Пойду взгляну, каковы они, пусть солнечные лучи направят меня; а если у них нет дичи, я умилю их, щедро поделившись своей, лишь бы они ее не отвергли».

Насилу утихомирив собак, одних лаской, других грозным взглядом, окриком и дубиной, он склонил голову к левому плечу, напрягая слух, постоял, послушал и вернулся к собакам; соединив их сворой, ремнями привязал к соседнему дубу; взял в руки суковатый посох, на котором, по обыкновению, носил за плечом добычу, облегчая себе тяжелую ношу, и направил стопы в ту сторону, откуда донесся сладостный голос; и еще прежде, чем светлые воды ручья, он увидел толпу юных дев на пестреющем берегу, под сенью приятных кустов, меж цветами и высокой травой; из них одни бродили в ручье, обнажая ступни в мелких водах; другие, отложив охотничьи луки и стрелы, преклоняли к воде разгоряченные лица и умывались, погружая белоспешные руки в прохладные струи; третьи, позволяя ветерку пропитать под одежды, сидели на траве, вникая самой радостной из подруг, чью песнь, прежде достигшую его слуха, тотчас узнал Амето. Только он их завидел, как, в уверенности, что перед ним богини, боязливо отступил и упал на колени, с перепугу не зная, что и сказать. Тут собаки, лежавшие подле нимф, вскочили, прижав его, верно, за зверя, и ринулись к нему с громким лаем. Схваченный ими Амето, видя, что бегством не спасешься, как мог, отбивался от их клыков, помогая себе руками, посохом, бранью, но свора, привыкшая к женственным звукам, от его голоса только пуще свирепела, принимая его, полуживого от страха; вспомнил он об Актеоне и уже ощупывал лоб, ища рога, и клял обуявшее его дерзостное желанье увидеть бессмертных богинь. Но тут нимфы, потревоженные в своих забавах яростным лаем, поднялись, звонкими голосами уняли буйную свору и

с ласковым смехом, разобрав, кто он такой, утешили и ободрили Амето; приветив его, они возвратились на прежнее место и продолжили песнь:

IV

Кефис, текущий в Лопийском крае,
то прямо, то излучины плетя,
извивами приятными играя

и волны обольстительно катя,
с невиданным до сей поры уменьем
Лириопею совратил, шутя,

и так он воспылал к пей вождельнем,
что отнял девственность, мольбам не вняв,
и пренебрег ее сопротивленьем,

и породил меня; среди дубрав
ручьям я поклоняюсь и потокам
и чту в них средоточье отчих прав;

к тому же, наклонясь над водотоком,
своей красой люблюсь — всякий раз
себя увидя в зеркале глубоком;

и поровлю украситься подчас
травинками, веночками, цветами,
милей от милых становясь прикрас.

И, часто пребывая над водами,
я причащаюсь их былых услад
и пропикаюсь давними страстями,

которым не последовал мой брат,
прекрасный видом и стрелок успешный,
без жалости отвергнувший подряд

всех, кто пылал к нему любовью нежной,
пока однажды, заглянув в поток,
не увидал себя и, безутешный,

в цветок не превратился; на цветок
печально глядя, я вздохну порою
от жалости, хоть неуступчив рок.

И голос тот не властен надо мною,
губительный для брата моего
(он сам, безумец, этому виною).

И как отрадой было для него
погошу учинить лесной дичине,
не упустив из тварей никого,—

вот так и я, но по другой причине,
но оставляю лука, стрел, сетей,
работу задавая им доныне.

Изобретаю множество затей,
лесных богов тревожу поневоле
среди заповедных круч и пропастей;

и — чем он пренебрег в земной юдоли —
любовь и жажда правиться другим
мне по сердцу и правятся тем боле.

И будет всяк лелеем и любим,
кто красотой моей в душе пленится
и сердце мной наполнит,— и таким

то самое сторицей подарится,
что любящему слаще всех услад,
когда огнем влеченье разгорится.

И многих удостоится наград,
кто служит мне достойно и умело,
как послужили те, кого стократ

за верный труд я наградить сумела
и радостных им уделила прав,
сподобив высочайшего удела.

Отцову страсть за образец избрав,
от матери я приняла в именье
изящный облик и приятный прав.

Мое искусство и мое умение
мне дали имя Лия; мир вокруг —
красы моей достойное владенье.

И тот огонь — мой сладостный недуг, —
каким пылать не устает Кифера,
и шумных празднеств нескончаем круг,

мною заведенных в честь твою, Венера.

V

Оправившись от испуга и снова заслышав ангельский голос, Амето робко приблизился к нимфам, обхватил ладонями суковатый посох, оперся на него косматым подбородком и в забытии, точно грезя, устремил взор на певшую нимфу; давно уже смолк последний звук ее песни, когда он наконец очнулся, видом походя на того, кто, разбуженный посреди глубокого сна, озирается спросонья, едва постигая, где он и что с ним; увидев его таким, подруги Лии насилу сдержали веселый смех, уже подступивший к глазам и готовый вырваться наружу. С трудом, опершись на крепкий посох, он устоял на ногах, однако не упал, а когда вовсе вернулся к яви, не говоря ни слова, уселся подле нимф на траву; отсюда, любясь прелестной нимфой, резвящейся с подругами на пестром лугу, он видел, как лицо ее озаряется тем светом, каким сияет Аврора, когда Феб являет новое утро, как золотистые волосы, окруженные пышным венком из желудепосного дуба, прихотливо вьются по белоснежным плечам, и, неотрывно созерцая ее, все в ней находил достойным хвалы, а с тем вместе и грацию, и голос, и слова, и напев услышанной песни; и справедливо полагал в душе счастливецом того, кому дано обладать прелестью юной нимфы; в таких раздумьях он и себя самого оглядел, как бы колеблясь, стоит или нет попытать с ней удачи; поначалу во всем счел себя достойным и возликовал, потом, осмотрев себя более придирчивым взглядом, упал духом, проклиная и грубую свою наружность, и некстати обуявший его восторг; но от этой мысли снова склонился к первой, а от нее опять ко второй, поочередно то кляня себя в душе, то восхваляя. А между тем, покуда одна мысль поборола другую, в нем возгорелось влечение к той, кого он ни разу прежде не видел; и чем больше он уверял себя, что желанию его не суждено достигнуть чаемой цели, тем сильней расплялся.

Новичок в подобных делах, не разумеющий, откуда исходит и кем подстрекаема подобная страсть, лицемерием нимфы он пролагал путь неведомой дотоле любви и ощущал, что в глазах ее черпает утоление своего желанья, оттого все больше и больше притягивался к ним взором, в надежде, может быть, созерцанием их облегчить муку, но лишь сильнее томился, все больше воспламеняясь; и, сам не зная как, глазами впивая неизведанный огонь, весь им запылал. Как пламя, метнувшись, лизнет поверхность жирных предметов и, облизав, бежит прочь, чтобы тотчас вернуться снова, так Амето, возжегшись от созерцания, только потупит глаза, как пламя кинется прочь, но стоит ему взглянуть снова, и оно ринется назад свирепее, чем поначалу. Прежде юноше не случалось остерегаться, как бы неугасимая любовь не полонила навечно жаркую душу. Вот отчего, перевернув в уме каждое слово услышанной песни, он все их наконец постиг, одного не уразумел, кого же все-таки называли Амуром; про себя он так о том рассуждал:

«О небожители! Деля с сатирами кров, я немало слышал от них о вашем могуществе, и каждый из богов хоть отчасти мне ведом; не пойму только, что это за Амура она воспела и отчего ей так радостно, что он ее достиг; я его не видел, какими путями он ходит, не знаю; вас и Амура самого, ради благости его, молю, позвольте мне узнать, каков он. Я хочу понять, как понравиться той, чей взор извлек меня из прохладной тени, заставил позабыть охоту, бросить собак, лук и стрелы. Она одна мне по сердцу, не знаю, то ли зовут Амуром или это лишь проявление его божественной силы, от него заемлющее имя. Коли таков Амур, значит, он мне милее всего на свете, а не таков, что ж, все равно она мне по сердцу».

Размыслив таким образом, он снова устремился к ней взглядом; но только встречал ее томный взор, как, разом устыдившись, потуплял глаза долу, полагая безумным желанье созерцать столь прекрасный предмет. И, однако, снова, побуждаемый тайным огнем, взглядывал на нее, говоря:

— О божество, обитающее в ее глазах, кто бы ты ни было, не донимай меня с такой силой: умерь натиск, пощади неопытную душу, если хочешь, чтобы я склонился к твоим уладам; тебе и так легко будет меня одолеть.

А немного погодя, спохватившись, говорил:

— Увы, чему я поддаюсь? Разве я не слышал, как тягостна власть дев, как они на миг не оставляют в покое тех, кто им подвластен? Да кто мне велит отречься от извечного блага, моей свободы? Ясный день и темная ночь мои, я, как хочу, употребляю время; сам решаю, дать ли отдых гибкому луку и стрелам, скрыться ли в тець или ее покинуть; и добычей от усердной охоты я распоряжаюсь по своей воле. На что я иду? На то, чтобы служить, сам не знаю кому. О жалостливые боги, отриньте от меня эту напасть; не мне, увальню, пристало служить столь прекрасной деве. Одежда моя убога, я рожден и вскормлен в лесах, пусть берутся за это те, кто более меня опытен в подобных делах. Одному Юпитеру она под стать красотой, он, наверно, из-за самых звезд расслышал ее песнь и теперь прельстит ее куда проворнее и искуснее, чем я; мне в том отказано, что ему пристало. Нет у меня ни красоты Адониса, ни сокровищ Мидаса, ни кифары Орфея, ни воинственности Марса, ни хитроумия Атлантова внука, ни спесивой власти Циклопов, каковыми свойствами или хоть одним из них я мог бы ее прельстить или против воли проникнуть в душу, как она проникла в мою красотой. К тому же, богами рожденная, она, верно, и детей захочет от бога, а не от простого охотника. Оставляю-ка я лучше все это, не пора ли воротиться к старым заботам: с ними начал жизнь, с ними и кончу.

Но чуть повернулся к Лии, как опять передумал, едва ее красота проникла к нему в глаза; и снова решил понравиться ей во что бы то ни стало на свой неотесанный лад, а все иные помыслы отогнать. Тотчас убрал с лица свисающие в беспорядке пряди; пригладил, чтоб не торчала, косматую бороду; как умел, прикрыл изъяны ветхой одежды и, устыдившись того, что полагал в себе безобразным, снова принялся рассуждать:

— Прекрасная нимфа, впервые представшая моему взору, если я не ослышался, песней не кого-то другого, а меня манила к своим прелестям. Зачем же малодушно бежать оттуда, откуда не гнали? Дерзну — кто может ведать судьбу? Немало было и таких, что пастухов предпочли богам, а кто знает, к кому больше лежит ее сердце. А мне что стоит попробовать; будет толк, душа моя обретет вечное утешенье, не будет, займусь тем же, чем раньше. Но я все же понравлюсь ей; пусть не лицом, но делами, ими я возьму все недостатки. Эта нимфа любит

охоты, а я вырос в лесах, что ни день с луком и стрелами преследую диких зверей, и никто не сражал их вернее меня, я не боюсь с острой рогатиной выжидать в засаде вспененного кабана, мои псы отважно бросаются на свирепых львов; я знаю все звериные логова в чащах; никто лучше меня не выберет, где натягивать сети, никто не выдумает силков для пернатых птиц, каких бы я не видал или не умел смастерить. Всем послужу ей и себя отдам в придачу. Сильный, я понесу для нее по кручам лук, колчан и сети, отягощу плечи обильной добычей. Проворный, я заберусь в теснины, куда ей, нежнейшей и пугливой, не под силу проникнуть. Я покажу ей зверей, научу находить их логова и норы; в любой миг переправлюсь через студёные волны, сплету ей венки из листьев, добытых с вершин могучего дуба, и защищу ими прекраснейший лик от лучей палящего Феба, и еще многим ей послужу. И если все это достойно хоть малой милости, я ее удостоюсь, ибо не верю, что столь юную красоту запятнает неблагодарность. Пусть даже она поскупится на вознаграждения, все равно я никак не буду внакладе, раз не лишусь излюбленного занятия; напротив, раньше один, а теперь с любезной спутницей проникну в лесные дебри; ведь только лицезреть столь прекрасную деву и то немалая награда за все труды. Итак, последую за тем, что так пленяет мои глаза.

Но и разрешив сомненья, Амето, как ни думал, не мог додуматься, как же приступить к делу; не раз он готов был попытаться броду жалостливыми речами, исполненными мольбы, да не умел начать. Мешал своенравный властелин, которому по неведению он дал воцариться в своей душе; и, покорствуя ему, он, пристыженный, всякий раз отступал. Не будь лицо его красно от солнца, он перед всеми обнаружил бы свой стыд, но, движимый благим советом, вскочил и по жарким лугам устремился туда, где оставил трофей. Там смыл с лица пыль в прозрачных водах ручья, возложил на могучие плечи добычу и с нею предстал перед нимфой. И хотя видел, что у нее и своей добычи довольно, с отвагой в лице и робостью в сердце предложил ей дань, а те бессвязные слова, какие он сумел выговорить, смешались с звонкими голосами нимф; их шутливым речам, которые он едва ли разумел, и разным затеям не было бы в тот день конца, если бы наступившие сумерки не отзывали под кровли жилищ каждую из них и Амето.

Впервые познав узы любви, Амето возвратился домой, где отныне все время проводит в помыслах о прекрасной нимфе; почти, что прежде казались краткими после тягот охоты на высоких кручах, стали теперь томительно долгими от жгучих желаний. Снедаемый новой тревогой, он досадует на медлительную тьму, по едва луч солнца коснется разомкнутых век, как он устремляется со сворой в рощи и там то разыскивает, то высматривает, то поджидает прекрасных нимф; а найдя, счастливый, сопутствует в охотах и, сведущий в столь любезном им деле, с готовностью угождает девам своим умением; никакие труды ему не в тягость, никакая опасность его не страшит. Лишь бы знать, что его видит Лиия, и он, чуть не опережая свору, голыми руками одолест самых лютых зверей. В угоду нимфам он то ладит тенета, то перелаживает, то таскает, и уж кажется, им не нужно в охоте иного снаряженья, кроме Амето; а он в жаркое время дня, расположившись с ними на прохладной лужайке, в благодатной тени, подле прозрачного ручья, млеет душой, более всего довольный своей отвагой и тем, что нимфами принят в семью, а Лиия особенно любезен.

VII

Так, не отступая от начатого дела, подвигнутый пламенной страстью, язвящей грудь, Амето предавался жаркой любви, покуда дождливая зима, гонительница наслаждений, не обнажила рощи и, одев вершины холмов белым покровом, не положила конец веселым охотам. Выходя на порог жилища, Амето созерцал белеющую округу и видел, как мутятся светлые, нежно журчавшие воды; как клокочет в них пена, как быстрым током увлекают они огромные глыбы с высоких гор, производя оглушительный грохот, как от сурового холода замедляют течение и каменеют в своих берегах; как земля, блиставшая пестрым убранством, оголяясь, являет раны; как просторные пивы на редких прогалинах обнажают одинокие, сиротливые борозды, не укрытые снегом. Смолк птичий гомоц, прежде ласкавший слух, не видно на пастбищах пастухов со стадами;

ясно улыбавшееся небо, сулившее светом довольство, затянули темные тучи; сойдясь у края неба с землей и обратив полдень в глухую полночь, они, содрогаясь, наводят ужас сначала внезапным блеском, потом устрашающим громом; когда же солнце вступило в созвездье Плеяд, сорвались беззаконные ветры, буйными порывами грозя сокрушить деревья и высокие башни, не говоря уж о людях, и не один рослый дуб вырвали с корнем; дороги, к досаде путников, обратились в хляби от пролитых небесами дождей, так что каждый па время поневоле стал домоседом. Так и Амето на время, и немалое, лишился светлого созерцания своей нимфы. Но чтобы пепастная пора не прошла втуне, Амето не теряет времени даром: чипит сети, правит стрелы, острит дротики, ладит луки, натягивает тетиву. Натаскивает собак и усердно готовит хищных птиц к поднебесным схваткам — одних для себя, других для любезной Лии. Но вот Феб, достигнув Фриксова овна, вернул Земле убранство, пестреющее цветами, которого лишила ее упылая осень; деревья покрылись нежной листвою и цветами, даря приют резвым пташкам; из нор выбежали в луга влюбленные звери; Церера явила сокрытые в почве плоды; беспечные жаворопки, подражая пеньем людским кифарам, взмыли в небо, и вся расцветенная земля, омытая током серебристых ручьев, предалась веселью; нежнейший Зефир, не колебля юной листвы, прокрался меж тонких ветвей, и небо явило людям благие дары. Зрелище новой весны, суля Амето надежду увидеть Лию, разожгло в нем тлевнее пламя; пустившись в рощи, он огласил их кликами, рогом, лаем собак, чтобы все кругом всюду, где он проходит, разжигалось его желаньем и пробуждало ответное в Лии; и боги к нему благоволили. С доспехами, потребными для такой брани, Лия отправилась в рощи и вновь обретенного Амето осчастливила своим явленьем. И снова, что ни день, он соучаствует ей в охоте, а в жаркое время дня коротает приятный досуг подле нее близ ручьев, меж высокой травой и яркими цветами, в благодатной тени молодых деревьев. А если случится иной раз, что Амето не встретит нимфы, то спешит к условленным местам, поручителям ее возвращенья. Однажды, устав от тщетных поисков, он сошел на излюбленные лужайки и, простершись на зеленеющих травах, защищенный от солнечных лучей приятной тенью, зашел:

Феб, возпесясь в средину сфер небесных,
глядит прямее, сокращая тень,
и та бежит лучей его отвесных;

и медленный Зефир стремится в сень
дерев и скал, покуда понемногу
Феб не уймет разгоряченный день

и свет умерит, чьи лучи отлого,
пока земля обречена жаре,
добычу ищут солнечному богу.

И поедает зверь в своей норе,
что поутру им раздобыто было,
и ждет конца докучливой поре.

Фиалки долу клонятся уныло,
и прячутся в густой траве цветы,
покамест не состарится светило.

И пастухи, сомлев от духоты,
козлят и козочек уводят с луга,
туда, где тени плотны и густы.

И смолкла многошумная округа,
и все в лесу примолкло, что шумит,
встречая Феба в пзначалье круга.

И праздно сеть охотничья висит,
и луки, и коварные капканы
совсем не устрашающи на вид,

и оконечья стрел в траве поляны,
когда их накалит небесный зной,
и не страшны и просятся в колчаны.

И всё укрытья ищет в час дневной;
ты только, Лия, в дружестве с жарою,
и зной приятен для тебя одной.

И ты неудержима, и порою
незнамо где свои проводишь дни;
тебя не видя — вожделею втрое.

Оставь, угомось, повременц,
не беспокой чащобы и теснины
и хоть немного в полдень отдохни.

Спешь ко мне — покинь свои вершины
и милых нимф прелестный хоровод
в зеленые ты приведи долины.

Взгляни, поодаль благодатных вод
густы луга и нету в них изъяна,
но нет тебя средь луговых щедрот.

Приди же — заждалась тебя поляна,
привычную отрадой насладись,
моим очам отрадна и желанна.

И от своих трудов освободись,
хоть в них приятней быть мне вовлеченным,
чем в сонм богов бессмертных вознестись.

Дай отдышаться псам разгоряченным —
им рыскать по горам невмоготу —
и появишься пред взором восхищенным,

и поспеши лелеять красоту,
и хоть на время ради сладкой тени
оставь охоты шумную тщету.

Приди же — отдохни в укромной сени,
как приходила; и не медли впредь
со мной предаться праздности и лени.

Нельзя твоих достоинств не воспеть, —
и, пусть в словах моих не много лада,
я все-таки попробую посметь.

Ты слаще палитого винограда,
яснее и прозрачнее стекла,
ты сердцу и отрада, и услада,

тебе, что пальме, высота мила,
ты так нежна, ягненка ты пригожей
и, словно он, резва и весела,

ты для меня желанней и дороже,
чем путнику ручья прохладный ток,
огонь замерзшим и бездомным ложе;

я волосы твои сравнить бы мог
со спелыми колосьями Цереры,
сплетенными в сияющий венок;

и должно соразмерней всякой меры
и часть, и целое в тебе почтеть,
и вряд ли есть похожие примеры,

и у Зевеса вымолю я честь
глаз не сводить с твоей красоты отпыне,
лишь только бы тебе не падоеть!

И коль тобой руководит богиня,
о коей пела, — поспеши тогда
ко мне явиться, словно благостыня.

Красе своей не причиняй вреда,
палящий зной опасен ей тем боле,
чем долее ты не идешь сюда.

Явись, как ты являлась мне дотоле,
я для тебя — мне сердце так велит —
цветок к цветку собрал в душистом поле.

Еще, тебе на радость, не забыт
запас немалый вишни полнотелой,
поторопись — не то опа сторит.

И красный ждет жасмин тебя, и белый,
и смокв достаточно, и вдоволь слив,
и миндаля, и земляники спелой,

и груш отборных; и в тени олив
нашел я голубят в гнезде средь луга,
чьих перышек жемчужеп перелив, —

ты ими позабавишься; из лука
зайчиху подстрелив, я взял у ней
зайчат смешных и милых, даже злюка,

и тот им улыбнется; иль скорей
три оленепочка тебе по праву,
моих не избежавшие сетей?

И всякий плод, и всякую забаву
я сберегаю для тебя одной,
приди же в милосердную дубраву,

беги песносной духоты дневной,
preneбреги охотничьей потехой —
вернешься к ней, когда не будет зной

ловитве огорчительной помехой.

IX

Умолкает песнь, и солнце правит коней к Гесперпйским волнам; истекли часы палящего зноя, и вот уже ночь, окутав мир, восстала из Ганга, а желанной Лии все нет на урочных лужайках. Засветились звезды, и, различив их в небе, Амето, унылый, возвратился под кровлю, кляня свою леньость и пеняя на зловредность Фортуны в надежде, что впредь она будет милостивей. Подступают дни празднеств, со времен седой старипы посвященных Венере, узами света связанной с Фебом, вступившим в середину Тельца, похитителя Европы. Огласились храмы, и хлынувшие в них нарядные лидийские толпы воскурили благоволия богам; избранная знать и простолюдины, смешавшись, умилостивили богов молитвой и жертвами и предались праздничному ликовапью. Девы, жены и престарелые матери в блистающих чудных убранствах явили в храмах свою красоту; и сами храмы, изнутри и спаружи украшенные гирляндами из листвы и цветов, вливали в душу веселье. Но торжественнее прочих, покоясь белоснежным сводом на мраморных колоннах, высится храм, равно отстоящий от быстрых вод Муньопе и Сарно, в кругу величественных сосен, стройных елей, могучих дубов и рослых буков, бросающих узорные тени на храмовую площадь. К его пышному великолепию стекается стар и млад; нет селения, но пославшего сюда жителей, нет склона, удержавшего на себе пастухов; прозрачные реки шлют к нему нимф, окрестные рощи — дриад и фавпов, к нему спешат с полей сатиры, а за нимп являются и резвые няяды;

Вертумп шлет своих празднично разодетых питомцев, Приап — своих; одни смотрят Палладой, другие — Минервой, кто грацией подобен Юноне, кто — девственной Диане. Сюда же, скинув деревенскую одежду и принарядившись, поспешил Амето, а вскоре, подобно ему, в пышном убранстве пришла Лия; и от обоюдных взглядов в каждом из них еще сильнее разгорелось любовное пламя. Но вот окончены воскурения и вознесены молитвы, а души исполнились благостью, умолк шумный храм. Меж тем подошло жаркое время дня, и, выйдя, все устремились искать прохлады; а в тени, отведав кушаний, предались забавам, разделились на общества, и каждое избрало приятный способ веселиться. Кто, как некогда Марсий, звуком свирели тягался с Аполлоном, кто игрой на кифаре мнил превзойти Орфея, кто, укрощая поровистых копей, выхвалялся ловкостью Александра, кто на свой лад воздавал дань Церере и Вакху; большая часть, взявшись за пряжу Минервы, искали мастерством превзойти Арахну, прочие же, служа Вертумпу, изощрялись в аркадских забавах. Амето меж тем всюду следовал за своей Лией; вместе с подругами она расположилась близ храма среди пышной травы и цветов на прекрасной лужайке, осененной свежей листвою, подле прозрачного ручья; отразившись в его глади, отерла жаркий пот, поправила одежды и, утешив Амето взором, сладостным голосом завела беседу; рассказывая правдивейшие истории о всевышних богах и мирских пороках, она услаждала слушавших благородной речью. Однако повесть ее длилась недолго; увидев, что к ним издалека направляются две прекраснейшие нимфы, она поднялась им навстречу; многократно повторила радостное и любезное приветствие, с почетом усадила подле себя и с их дозволения возобновила прерванную беседу. Амето, завидев нимф, приподнял голову над зеленой травой, и, не в силах оторвать взгляд, с похвалой созерцал каждую в отдельности и обеих вместе. У одной, той, что более величественна видом, волосы, необычайно искусно уложенные вокруг головы, стягивала в красивый узел тонкая золотая сетка, подобная им цветом, так, чтобы дуновение ветерка не могли их колебать; ярко-зеленая повилика, прежде нежно обвивавшая вяз, венчала широкий, гладкий, блестящий лоб без единой морщинки; ниже, разделенные малым промежутком, дугой расходились темные брови; под ними не запавшие, но и не излишне выпуклые глаза, точно два божественных светоча, излучали благо-

родство. Меж сияющих щек, по которым согласно разлит румянец, умеренно-продолговатых и уместно округлых, расположился точеный нос; ниже, на должном расстоянии — маленький рот; в меру пухлые губы, от природы пунцовые, прикрывают слоновой кости зубы, мелкие и ровные; еще ниже красивейший подбородок, украшенный ямочкой; дальше белоснежная шея, круглящаяся приятной, не излишней полнотою, певчий затылок, статные, ровные и соразмерные плечи. И все это по отдельности было столь красиво и согласно с прочим, что Амето с трудом отводил глаза от одного, чтобы рассмотреть другое. Обозревая все восхищенным взором, он заметил и небольшие холмы, окутанные тончайшей, огненного цвета индийской тканью, не уступающей величии небесных плодов, которые, вздымая мягкие покровы, вернейшим образом доказывали свою упругость. Раскинутые по траве руки, уместно полные у запястий, стягиваемые изящным рукавом, отчего они казались еще округлее, завершались тонкими, изящными, удлиненными пальцами. «Как жаль, — думал Амето, — что другими, а не мной подарены украшающие их дорогие кольца». Из расположенных ниже частей стройного тела взгляду Амето открывалась лишь маленькая ступня; но, увидев красавицу стоящей и имея в уме всю ее статью, Амето воображал, сколько еще прелестей скрывают дорогие одежды. Едва оторвавшись от нее взглядом, Амето вперился в другую, не менее прекрасную, и, оглядывая ее, старался не упустить никакую мелочь в точности, как и раньше. Волосы ее, убранные в красивую косу и уложенные с изящным искусством, отливали золотом не так, как у первой, но лишь немногим меньше, сияя под венком из зеленого мирта. Трудно решить, какая из них более достойна хвалы, но увенчанное миртовым венком широкое и просторное чело, белизною равное снегу, казалось ему всех краше. Две тонкие брови, разделенные должным промежутком, будучи сложены, составили бы ровный круг, и против них белыми могли бы назваться угли; под ними блистали глаза, светом едва не ослепив Амето, меж ними отнюдь не вздернутый нос опускался прямо как раз настолько, чтобы не назваться орлиным; щеки, сестры зари, из самой глубины души Амето исторгли хвалу, и еще более — любезные уста, прелестными губами замыкающие ровный жемчужный ряд. Красивейший подбородок препроводил взгляд Амето к стройной, плещительной в движениях шее; белоснежной колонной

покоптся она на соразмерных плечах, покрытых парядной одеждой так, что остается на виду часть груди, надолго притянувшая к себе взоры Амето. Изящнейшая ложбина, где скреплены концы драгоценной накидки меж равных возвышенностей, ведет, как тотчас догадался Амето, в жилище богов, куда много раз устремлялись его дерзкие взоры. Оглядывая паряды, он примечал, куда бы проникла проворная рука, дай ей волю, и восхвалял приподнятые части, чью округлость и заостренность не скрывали прилегающе ткани. Руки ее — должной величины и белоснежные кисти с продолговатыми пальцами — оттеняла пурпурная накидка, широко ниспадающая на колени сидящей нимфы. Станом стройная под свободно лежащими одеждами, опоясанная широкой перевязью из каймы и пышная, где это уместно, она, как и первая, безмерно восхитила Амето, чье зрение устремлено было к нимфам не меньше, чем слух к речам Лии.

X

Повествование закончилось, когда до слуха тех, кто ему внимал, допеслись звуки свирели и сладостный голос; обернувшись, среди приятных кустов все увидели сидящего пастуха, сошедшего с ближних пастбищ со своим стадом. Разомлевшее от жары стадо улеглось на зеленой лужайке и жевало под звуки свирели, на которой, сидя в прохладной тени, наигрывал юноша, время от времени сопровождая мелодию изящным стихом. Едва присутствовавшие его увидели, как согласно отправились туда, где он находился, и уговорили его, умолкшего при их появлении, пропеть песню снова. И кто бы на его месте устоял перед подобной просьбой — ни холодный персидский мрамор, ни идейские дубы, ни ливийские змеи, ни холодные моря Геллеспонта; итак, вняв уговорам нимфы, Теоганеп приложил уста к тростниковой свирели и запел под извлекаемые из нее звуки:

XI

Родит благоволение богини,
на празднестве которой мы поем,
проникнувшись величием святыни,

все, что имеем мы и чем живем;
но если благостыня отвертится,
мы стапем тщетны в рвении своем.

И коль не воспоет моя цевница
всего благоволения, тогда
пускай в мой стих войдет его частица.

Оно пленяет душу без труда
и добрым чувством полнит сердце наше,
и грубость изгоняет без следа;

и сердце, уподобясь дивной чаше
и переполняясь вечной красотой,
наш голос глубже делает и краше

и не прельщает праздной суетой,
и тотчас ты, для ближнего полезный,
его на твердый выведешь устой.

И, одарен способностью чудесной,
ты будешь терпелив и не гневлив,
в делах спокойный и в речах любезный.

И, ангельскую кротость получив,
ты станешь милосердием богаче,
со всяким мягок, милостив, учтив.

И щедрым прослывешь ты наипаче,
и, не смущаясь, у других возьмешь,
и дашь с лихвой во всяческой отдаче.

На помощь ты, не мешкая, придешь
тому, кто беззащитен или беден,
и вышею отрадой то почтешь.

И, в милосердые щедр п беззаветен,
излишками пичуть не дорожась,
тому даешь, кому твой дар не вреден;

а посему даруешь, не скупясь,
не понуждаем просьбой никакой,
и ширится молва, тебе дивясь.

Ты ж, одаряя щедрою рукою,
собой являешь праведный пример
и борешься с порочностью мирскою.

И луч богини, мчась из горних сфер,
соблазны оборит своим пылаемъ,
и люди мнут высшую из вер,

не предаваясь пагубным влияньям,
Церере через меру не служа,
не теша Вакха частым возлияньем.

И не переступают рубежа
пристойной меры в страсти к украшеньям,
для божья лика ими дорожа;

и, сколько могут, острым вожделецям
противятся, воспламеняясь столь,
сколь свойственно природным побуждениям.

Любую посети она юдоль,
и перед ней отступит гнев холодный,
ее огня не ведавший дотоль.

И празднословья пыл, ей неугодный,
она не одобряет никогда,
по поощряет правды дар свободный.

И, процветанью радуясь всегда,
благословит дарителя щедроты,
суля ему счастливые года,

и с болью видит ближнего заботы,
и, своего обидчика простив,
впредь сводит с ним лишь дружеские счеты.

Его душа обрящет, к небу взмыв,
великодушья и ума награду —
равна со всеми, каждого почтив

по месту, добродетелям, паряду,
уважит сап, заслуги, имена,
гася в себе и в остальных досаду.

И этим всех к себе влечет она
и никого, благая, не отринет,
кто служит ей, а ей отдать сполна

и силу и талант да не преминет
любой из нас; не описать красот
пределов тех, где данник будет принят

и вечное богатство обретет
не каждому доступного чертога,
какой нам в дивном блеске предстает;

и всякий в царстве том постигнет Бога.

XII

Еще длилось сладостное пение Теогапена, когда Лия с двумя красавицами изящным движением поднялась, чтобы почтительно приветствовать двух других; желая ли укрыться от жары, или послушать новый напев, или просто присоединиться к подругам, они радостно направлялись к лужайке.

Пришедших встретили радушно, приветливой речью, и новое дивное зрелище тотчас привлекло внимание педремавшего Амето; возомнив себя не на земле, а на небе, он глядел с равным изумлением на явившихся раньше и на вновь пришедших, всех почитая не смертными, а божествами. Одна, отложив лук, колчак и стрелы, почти против воли опустила на предложенное ей подругами, в знак уважения, самое возвышенное место среди трав и цветов; мановением изящной руки смахнула тончайшим покрывалом с блестящего чела выступившие от жары капли влаги и всем уподобилась распутившейся на заре розе. Другая, отложив снаряжение и отерев влагу белоснежной повязкой, окутанная тонким покрывалом, принимая знаки почтения от подруг, уселась рядом с первой; и вот уже обе, обратившись в слух, внимали поющему Теогапену. Но Амето, которого зренье наслаждалось не меньше, чем слух, в меру сил внимая пению, не отрывал взгляда от вновь пришедших. Первую Амето уподобил, и по праву, Диане; ее светлые волосы, ни с чем не сравнимые блеском, без всякой замысловатости были собраны на темени изящным узлом, а пряди покороче

свободно пспсадали из-под зеленой лнсты лаврового венка, часть же, отданная во власть колеблющего их дуновенья, рассыпалась вдоль нежной шеи, сделав ее еще более привлекательной. Обратившись к ним всемп помысламп, Амето постнг умом, что длинные, светлые, обильные волосы служат женщннам лучшм украшеньем и что если лнштть волос саму Цитерею, любимую небом, рожденную и возросшую в волнах, исполненную всяческой прелестн, то едва ли она сможет поправнтсь своему Марсу. Словом, благородство волос таково, что в каком бы драгоценном, расшнтм золотом и камннмп платье нп появилась женщнна, она не покажется парядпно убранной, если не уложнт должным образом волосы, однако этой естественный беспорядок прядей прндавал в глазах Амето особую прелестть.

Венок из лавра с множеством лнстьев и топчайшая пурпурная фата, дающая светлomu лнку благодатную тепп, прикрывалн лоб пзумптельной красоты; кончнкн лнстьев почти касались удлиненных расставленных бровей, черных, как у афнопов, а под ннмп два ярчайшнх глаза мерцалн, как утреннне звезды; не глубоко посаженные, но и не выпуклые, большнне и продолговатые, цветом карне, онн лзлнвали любовный свет. Нос и алые щеки, не лзлншыне пухлые и не впалые от худобы, но умеренные, радовалн взор; рот, не растянутый чрезмерно, но, напротив того, крохотный, и губы, подобные алой розе, заставлялн при взгляде на ннх желать сладостных поцелуев. И нежное горло, и ослепнтельная, без еднного лзъяна шея, великолепно покоящаяся на стройных плечах, в своей прелестн вождеделн частых объятнй. Росту высокого и дородная, сложешнем совершенная, как никакая другая, она восседала, окутанная турецкой, алой, как кровь, топчайшей тканью, усеянной мелкнмп золотымп пташкамп так, что любезный покрой наряда открывал обозрению большую часть белоспекной груди. Амето не в силах был отвестн взгляд от округлых плодов, точно желавшнх выставнтть свою упругость вопреки одеяппю, хотя нх пыталась уберечь от взоров пурпурная наклдка, переброшенная однм концом через левое плечо и на нем закрепленная, а другим — двойной складкой пспсадающая вдоль колен. И, услаждая зрешье влдом рук и прекрасных кнстей под статью дородной груди, Амето всюду слнлся пропнкнуть, куда есть доступ вппмательному взору, нбо подобные прелестн велелн прозревать еще

большие, скрытые, и искать их на деле или взглядом со жгучим желанием. Такою, мнил Амето, предстала Дафна взорам Феба или Медея глазам Ясона, и про себя повторял: «О, счастлив тот, кому дан в обладанье столь благородный предмет».

Потом, как бы ошеломленный, он перенес внимание на другую, восхваляя ее наряд, манеры и красоту, достойную божества, и, не будь рядом Лии, он почел бы красавицу ей равной. Облаченная в зеленую ткань, она сидела, держа в руке стрелу, отроду не видел Амето такого изящества; ее белокурые волосы, ни с чем не сравнимые цветом, большей частью были умело собраны длинными прядями над каждым ухом, а прочие заплетены в пышные косы, ниспадающие вдоль шеи; перекрещиваясь и расходясь, одна вправо, другая влево, они поднимались к темени белокурой головки, после чего снова спускались книзу, а их концы были упрятаны в косы, поднятые вверх; сверкая золотой нитью и влетевшими жемчугами, они лежали по своим местам так, что ни один волосок не нарушал устроенного порядка; тонкая фата, мягко колеблемая ветерком, не утаивала от взоров ни единой пряди. На волосы был возложен венок из пышной листвы, разукрашенный алыми и белыми розами и другими цветами, удерживаемыми блестящей золотой нитью, и он преграждал путь солнечным лучам не менее, чем данайцам их волосы. Расположившись в тени, она чуть сдвинула венок, открыв взорам ослепительный лоб, окаймленный черной лентой, должной границей отделяющей его от золотистых прядей; и Амето восслабил его, видя, как он округл и широк. В нижней его части, расходясь, выгибались две темнее сумрака тончайшие брови, меж которыми сверкала белизной радостный промежуток; под ними сияли прелестные лукавые глаза, чей дивный свет слепил Амето, не позволяя в них проникнуть и узнать, кто обитающий там повергает его в трепет, подобный тому, что он испытал, узрев глаза Лии. Страшась ее глаз, он отвел свой взгляд и устремил его ниже, туда, где радовал взор нос, не вытянутый, не крупный и не маленький, а как раз такой, какой подобает красивому лицу, и щечки цвета молока, куда только что упала капля крови, коими Амето восхищался без конца; усиленный жарой, этот цвет разлился по ее лицу, но не более, чем это пристало женщине, так что теперь, сидя в тени, она была подобна восточной жемчужине. Ее пунцовый рот походил на

пунцовые розы меж белых лилий, обещая без меры приятные поцелуи. Подбородок ее, не выпяченный, но округлый и с ямочкой посредине, достоин был благосклонного взгляда и подобно ему белая стройная шея и нежное горло, прикрытое зеленой накидкой, которая, впрочем, нисколько не прятала груди, обнажаемой покроем наряда; грудь же ее, соразмерная и полная, под стать плечам, достойна была того, чтобы часто выдерживать любовную ношу; все это Амето оглядел жадным взором. Рассмотрев приметливо то, что видно, к скрытому он обратил не взгляд, а воображение. Спустившись взглядом пониже открытой части груди, он заметил, как чуть приподымается ткань и, мысленным взором с радостью проникая под одежды, догадался, что тому служит причиной, ощутил сокрытые прелести не менее сладостными, чем они есть на самом деле. Столь же прекрасны были и руки, туго стянутые от плеча до кисти и в некоторых местах схваченные замысловатыми пряжками, и красивейшие пальцы, украшенные множеством колец, и одежды, с прорезями от подмышки до пояса, стянутые подобными же пряжками, что позволяло увидеть всю ее дородность. Проникая в прорези взглядом, Амето силился разглядеть то, что белоснежное одеянье, находящееся под зеленым, мешало ему видеть, и ясно постигал, что лучший плод из всего, что он узрел, таился среди того, что скрыто и чем, мнил Амето, никому, кроме Юпитера, не дано обладать. Оглядывая ее множество раз, он слагал ей во славу не меньше похвал, чем удостоилась прекрасная Киприда, и про себя оплакивал грубую жизнь в лесах, скорбя о том, что так долго от него были скрыты величайшие из наслаждений.

XIII

Пока Амето разглядывал, изучал, разбирал и мысленно подтверждал дивную красоту подошедших нимф, Теогепен умолк, порадовав дам, и Лия обратилась к нему с такими словами:

— Да вознаградят тебя боги за высокий труд, ты усладил наш слух своим стихом, как истомленного благодатный сон на зеленой траве и как жаждущего прозрачный студеный источник.

Теогапен ничего не возразил на похвалу, но прислушался к спору в толпе пастухов и пригласил дам выслушать и рассудить их преню. Тут один из них, Акатен, пастух, пришедший из Академии, стал хвастаться, будто он превзошел всех в споровке пасти стада, да еще вызвался доказать это, состязаясь в стихах с Альцестом, пастухом из Аркадии; тот согласился в стихах же ему ответить, и оба, изготовившись, стали друг против друга. По общему согласию, приговор вверили внимающим дамам, после чего Теогапен вызвался помочь стихам напевом своей свирели и приготовил победителю пышный венок. Раздув горло и выпятив щеки, он послал в скрепленные воском тростинки долгий выдох, разрешившийся широким звуком, пробежал проворными пальцами по скважинам, наигрывая приятную мелодию, и кивком распорядился Альцесту начинать, а Акатену сменять его в свой черед. И Альцест начал:

XIV

Альцест. Едва лишь из Аврориного лона
выходит Гелиос, своих овец
веду я в горы по тропинкам склона;

и, пастбища достигнув наконец,
отыскиваю им траву по вкусу,
в какой еще не хаживал косец.

Послушны, смирны, педоступны гнусу —
они в горах тучнеют таково,
что не уест и волчьему прикусу.

Акатен. А я держусь обычая того,
какой у сицилийцев в обиходе —
пастух толковый предпочтет его.

Чем утомлять овец на переходе
по горным кручам, не избрать ли дол,
как более привычный их природе?

И корм хорош — куда бы ни пришел,
и в молоке такой у них достаток,
что не вместит удоя и котел.

Ягнятам — сколько б ни толкали маток —
не выпить и толику, а ведь их
не перечесть в моих стадах, ягняток.

А волк загубит одного-двоих —
от этого я тоже не внакладе;
приплод обилен на лугах моих.

Овечек вывожу я по прохладе
и вовсе не стегаю их прутом
ни для острастки, ни привычки ради;

насытившись на пастбище, гуртом
они к ручью спускаются напиться
и вновь насутся, чтобы пить потом.

И вам, аркадским, с нами не сравниться;
у вас-то и овец наперечет,
того гляди их можете лишиться.

У вас не то что корма, но и вод
в достатке нет — а похвальбы немалы, —
мол, вы одни — нагнущеский народ.

Альцест. Обильны влагой горные привалы,
чиста вода ключей и родников,
буравящих расселины и скалы.

Твои же тянут с низких бережков
водицу с илом, сколько не повадно,
и мрут от корчей либо червяков.

Притом они строптивы, дики, жадны,
что ни попало на лугу едят,
не столько травоядны, сколь всеядны;

такой пастьбой они себе вредят —
и молоко от этого дурное
и мало чем полезно для ягнят.

Но горная трава совсем иное
творит образование молока,
и нет его вкусней, когда — парное;

и пусть дорога на верхи тяжка,
зато уж корм отменно благотворный,
и трав Локусты нет наверняка.

И множит плодovitость воздух горный —
ведь каждая вторая тяжела,
и весь приплод здоровый и отборный.

И коль овца всю жизнь в горах жила,
то никаких укрытий ей не нужно,
и солнце ей не причиняет зла.

А если жарко очень уж и душно,
я за свирель веселую берусь,
и овцы мне внимают простодушно.

И спать-то иногда я не ложусь,
от ветра их ночного сберегая,
и равно о любой всегда пекусь.

А к а т е н. Ночлегами я не пренебрегаю,
а вот свирель мне вовсе ни к чему
и овцам тоже, так я полагаю.

У них свои дела, и посему,
отару поручив господней воле,
я набиваю брюхо и суму.

Но если приглядится кто подоле
к твоим с моими — заключит впопад,
что у меня овец куда поболее;

забота наша — умножение стад,
а у тебя — пусть хороши, да мало,
причем прибыль меньше затрат.

Ну, что ответишь? Видно, в цель попало
суждение очевидное мое.
Альцест молчит — молчапье знак провала.

А л ь ц е с т. Слова твои — притворство и вранье,
поэтому, тебе же в посрамление,
бахвальство развенчаю я твое.

Ты первый стал сегодня в нашем пренье
богатству и скоту вести подсчет,
а мы ведь о пастушеском уменье

решили петь, но умный разберет,
кто высказался тут по сути дела,
а кто из нас невесть о чем поет.

А к а т е н. Выходит, спору нет еще предела?
Но если стадо больше, то пастух
со стадом управляется умело.

А л ь ц е с т. С большим приплодом жди больших прорух;
от волка ли, от порчи неминучей —
но многие, увы, испустят дух.

Мои ж числом поменьше — по живучей,
и хищник на вершинах их неймет,
им не страшны репы и корм колючий,

и в стороне от вредных нечистот
белы они и знают превосходно
меня, который их пастись ведет.

А к а т е н. Рассказывай, приятель, что угодно,
но я в долине большой прок имел,
пока в горах бродил ты сумасбродно.

Кто воспретит мне, если б я хотел,
подняться в горы, где своей скотине
ты чуть не райский приискал предел?

А л ь ц е с т. Увы, тебе судьба пасти в долине:
набив травой сорной животы,
твои обжоры не дойдут к вершине.

А к а т е н. И грубы эти речи и пусты,
и обо мне болтаешь что попало,
в лесах дремучих одичавший, ты.

А л ь ц е с т. В лесах дремучих я узнал немало,
меня вскормили Музы в сердце гор,
тебе ж таких кормилиц не достало.

И сам ты груб и утверждаешь вздор,
и прав твой лучших доблестей не знает;
умолкни же, послушай приговор

тех, кто стиху неладному внимает;
ведь ты свою науку здесь никак
не защитил — то всякий понимает.

Мир не слышал еще подобных врак —
твой замысел нехитр, хотя подспудец.
Ты овцам не пастух, а главный враг

и по миру пойдешь и щиз и скудеп.

XV

Этим кончил Альцест, и рассерженный Акатен уже хотел ему было отвечать, но дамы в один голос заставили его умолкнуть и, признав неправым, возложили обещанный венок на голову Альцеста. После чего поднялись и вернулись на свою лужайку под сень прекрасного цветущего лавра; там они расположились у прозрачного ручья и усадили с собой Амето. Рассуждая, чем занять полдневный досуг — так как зной все не спадал, — они увидели вдалеке двух неспешно идущих дам; заметив их приближение, Лия с кротким видом сказала:

— Девы, встанем, почтим встречей наших подруг.

По ее знаку все поднялись и тем же неспешным шагом выступили навстречу идущим, оставив на берегу одного Амето. Сойдясь с подругами и ласково их приветив, они вместе направились обратно с той важностью в поступи, с какой идет от венца новобрачная. Сидя у ручья, Амето издали созерцал их, от восхищения едва не лишаясь рассудка; не в силах поверить, что перед ним смертные, а не богини, он чуть было не бросился с расспросами к Лии. Но удержал порыв и остался на месте, полагая, что очутился в раю; и внимательно, как прежде, предался созерцанию, говоря: «Если и дальше так пойдет, скоро здесь окажутся все красивейшие девы Этрурии, да что там, всего царства Юпитера; так ведь и я, едва посвятив себя прежде неведомому Амуру, из охотника превращусь во влюбленного и стану угождать дамам; но они таковы, что я готов служить им долгую

жизнь, лишь бы боги сохранили во мне тот же дух, что и ныне. Да и как могли бы они возбудить во мне влечение к столь дивным благам, если бы не дали узреть их воочию?» Тем временем, шествуя вслед за Лией между двух подруг, к тому месту, где пел Теогапеп, приблизилась одна из красавиц, томным взглядом величаво обзревая округу; вся она была в ослепительно белых одеждах с не сразу различимым узором, вытканном искусной рукой; пряжки и кайма по верхнему и нижнему краю платья блистали золотом и дорогими камнями; и дивный блеск разливался среди высоких деревьев там, где она ступала. На груди ее сверкала золотом и резными геммами дивная пряжка, скреплявшая верхние концы тончайшего покрывала; нижним концом оно с одной стороны было переброшено через руку и, ниспадая к земле, оставляло простор левой руке, сжимающей лук, а с другой, откинутое за спину, не стесняло в движениях правую руку, сжимающую стрелу. Шествуя, прекрасная нимфа в беседе то касалась оконечностью стрелы нежных губ, то плавно поводила ею, указуя окрест себя с тою же важностью в повадке, какую, должно быть, являет смертным Юнона, сходя к ним с горних высот. Перебирая про себя все увиденное, Амето в задумчивости рассуждал:

«Как знать, может быть, это сама Венера, сошедшая почтить свои храмы. Не думаю, что Адонису довелось ее видеть более или хоть столь же прекрасной. А если она не Венера, значит наверняка Диана; правда, Дианой мне показалась та, другая, что шествует рядом, одетая в пурпур; но, должно быть, подлинно Диана эта, ибо точь-в-точь в таком одеянье богиня охотится в своих рощах, разве что прическа у этой другая. Может быть, это новая богиня, какой я еще не знаю. Но как могла явиться сюда богиня, не послав земле предзнаменований? Меж тем в лугах пестреют все те же цветы, и воды все так же прозрачны, в жарком воздухе не веет благоуханием, не воспряли радостно травы, сникшие от палящего солнца, не задрожала земля; да и прочие нимфы, не менее прекрасные, не преклонили перед нею колен. Но если она не посланница небожителей, то кто же она среди смертных? Отроду не бывало на земле ничего столь прекрасного; правда, слыхал я, что в подобном убранстве входила Семирамида к сыну Бела и Дидона-сидонянка отправлялась на охоту, по их, я уверен, давно уже нет

на свете; впрочем, кто бы она ни была, красота ее необычайна».

И с таким заключением, отвлекшись от целого, он обратился к созерцанию отдельных частей: начиная сверху, он обозрел пышный венок из листвы оливы, священного дерева Паллады; стянутые им золотистые волосы прикрывала фата, легкий кончик которой, казалось, готов сорваться и улететь с дуновением Зефира, будь опочуть сильнее; заплетенные над ушами округлые косы не спадали вдоль стройной шеи, но, перевитые на затылке, были закреплены у каждого уха; достойные всякой хвалы, они не уступали, по заключению Амето, ничьим другим ни цветом, ни искусным переплетением. Пышный венок осенял, открывая взгляду сияющий, красивой величины лоб, в нижней части которого расходились не чертой, но дугой тонкие, сколь должно приподнятые, цвета зрелой оливы брови над глазами, вобравшими, по мнению Амето, всю красу, сколько есть в природе; захоти они, размышлял Амето, перед их силой не устоит ни одно божество; и, думая так, сам возносился на вершины блаженства, когда на нем останавливался их томный взор, и едва верил, что не весь рай уместился в этих глазах.

Темные, продолговатые, благостные, исполненные неги и смеха, они так притягивали к себе Амето, что прелестные щеки, где с белыми лилиями смешались алые розы и изящный нос, коему не сыщешь подобных, и алый рот, алеющий нежными припухлостями, способные изумить всякого, кто на них ни взглянет, едва привлекали внимание Амето, плененного светом глаз, целительных для него столько же, сколько глаза Липи.

Накопец, сраженный их силой, он вздохнул и повлекся взглядом дальше и, созерцая все прочее, не находил слов для похвал; легчайшая фата, прозрачная до того, что едва угадывалась зрением, приколота высоко над узлом волос, струясь вдоль щек, обоими концами касалась прекрасного подбородка и, как могла, защищала от солнца и мраморную стройную шею, и нежный покаты́й затылок, достигая выреза платья, который плавным своим очертанием не утаивал округлых плеч. На них Амето взирал как нельзя прилежней, восхваляя их за дивную красоту вместе с теми сокрытыми прелестями, что едва обозначались сквозь тесные покровы — порукой юному возрасту нимфы; и, вздумай он в тот миг просить

о чем-нибудь, он испросил бы ее объятий, подобных объятиям Юноны, и прикосновенья белоснежных рук с тонкими продолговатыми пальцами в золотых кольцах. Пока она, статная собой, шествовала к лужайке, Амето успел приметить и маленькую ступню, а благодаря легким дуновеньям, от которых взвивались края одежды, заглянув чуть дальше, сумел разглядеть и округлую, ничем не облаченную ножку, чьей белизны не могли затенить покровы, касавшиеся зеленых, привольно растущих трав. Как бы желалось ему увидеть и больше, но нет, тщетно утомлял он глаза; наконец, оторвавшись от нее взглядом, обратился к другой, той, что в строгих одеждах шествовала следом в окружении подруг. Долго с превеликим изумлением он любовался ею, не в силах уразуметь, взаправду ли он видит то, что видит, не сон ли это, не спящего ли вознесли его всевышние к своим престолам для созерцания столь великого блага; нет, повторяет, это не сон, — но только перестанет твердить, как спова усомнится; а сам все смотрит на то, что так любезно его глазам. Высокий стан нимфы облегал розовые одежды, как и у других, украшенные драгоценными пряжками; только на этот раз золотая застежка, скрепляющая покрывало, блистала не на груди, как у той, а на правом плече. Тончайшая накидка, собранная под левой рукой и переброшенная через нее зеленой изнанкой кверху, ниспадала к земле, оставляя свободной ладонь с цветами, сорванными по пути в окрестных лесах; другой конец ее ниспадал с правого плеча и порой, относимый ветерком, стлался за спиной, как, впрочем, и расходящиеся по бокам полы платья. Ее золотистые волосы, не покрытые фатой, стягивал прелестный венок из барвинка, а изпод него по вискам выбивались прядки; не заботясь убрать их, она выглядела столь мило, что Амето только диву давался, любуясь ее лицом и все в нем восхваляя: и плавную линию лба, и не разлтые, но ровные брови, и глаза, которые он увидел такими же, какими предстали глаза и другие прелести Филомелы тирану Фракии; ее ослепительные щеки можно было уподобить разве что белой розе, еще не тронутой лучами солнца, а нос, должно расположенный, своей красотой, мог бы возместить любой изъян, если бы таковой нашелся; маленький пунцовый рот, полураскрытый в улыбке, и округлый подбородок тотчас пленили бы всякого зрителя, который усладил бы ими уста еще охотней чем зрелище.

Внимательно оглядев и белоснежное горло, и стройную шею, и плечи, и груди там, где их дозволено видеть, Амето все оценил по достоинству: и то, что обнажено, и то, что сокрыто; и сладострастным взглядом долго созерцал ступню, обутую лишь в тонкий и узкий черный башмачок, едва прикрывавший пальцы и оттеняющий своим цветом их белизну. Тем временем, покуда Амето предавался созерцанию, дамы приблизились к тому месту, где он сидел, поджидая их в одиночестве; поднявшись в честь их прихода, он сел не раньше, чем они, отложив лук и стрелы, утолили жажду; после чего, насытившись созерцаньем всех вместе и каждой по отдельности, радостно запел:

XVI

О боги, вас, в надмирной сфере сущих,
которой чище и прекрасней нет,
все блага и дарящих и несущих

и промыслом объемлющих весь свет,
вас, кто располагает к доброй цели
погоду и движение планет;

и Громовержца в царственном уделе,
кому всех прежде я творить готов
обеты, что огнем не оскудели,

благочестивейшим из голосов
я воспою за светлое виденье,
мне явленное в зелени лесов.

Таптал и Титий, в горьком заточенье
Аидом скрыты, милых доши узрев,
возликовали бы, забыв мученья.

Вас, боги, сотворивших нежных дев,
изящных, мудрых, милых и прелестных,
и давших им пленительный напев,

вас, благосклонных и ко мне любезных,
прошу сберечь и честь их, и красу,
не пожалев им прелестей телесных.

И ты, кого до звезд превознесу,
Амур, душе неведомый недавно,
ты грубого меня нашел в лесу

и возродил, и я тебе исправно
служу с тех пор, как Лия песней путь
открыла мне светло и добронравно, —

и в том моя сегодняшняя суть;
по ты, Амур, внимая восхваленьям,
старайся мне и в сердце заглянуть.

Тебе служа, я весь объят гореньем,
какое постараюсь передать
в речениях, исполненных смиреньем

перед тобой; ты дал мне увидать
свой луч, который брошен жгучим взором
той, что твою явила благодать

мне, дикому; не погрешив укором,
последую я за звездой сей
в благуя даль под Лийным надзором.

Забыв и лук, и стрелы, и зверей
пугливых, я последую со страстью
за девами, которых нет милей,

кляня минуты, копми, к несчастью,
пренебрегая, по густым лесам
гонять зверей я верен был пристрастью

и в чаще пропадал по целым дням.
Но если впредь мне времени достанет,
я не колеблясь всё тебе отдам.

Какой гоньбы или ловитвы станет
такую благодать пронзвести?
Какой привал меня в лесу приманит,

когда мне довелось обрести
и Лию, и подруг прелестных Лий?
Ведь я у них, пленительных, в чести!

О, дивный плен! И попади в благие
я подданные царства твоего,
всё б не познал я радости такие.

И я молю, исполнившись всего
усердия, какое есть и будет,
тебя и всех богов со дня сего,

и пусть мои моленья вас разбудят,
дабы осуществилась впредь сполна
мечта, которой сердце не избудет —

на вечные остаться времена
здесь, где мы пребываем,— дол заветный
пусть не покинет нимфа ни одна,

юна, игрива, празднична, прпветна,
и без того пылавшая всегда,
и пламенам любви не безответна.

Коль Дафна или Мирра без труда
добились божьей помощи, впемлите
мне, кто вас не обидел никогда.

Ведь стольких ваших недругов дарито
вы добротой, внимая их мольбам,
и к недостойнейшим благоволите —

и это не противно небесам,
и стало частым на земле явленьем,
и небреженьем угрожает вам.

Так снизойдите и к моим моленьям,
затем чтоб восхищенный мой язык
вещал о вас грядущим поколеньям

и царство ваше смертный бы постиг.

XVII

Каждая расположилась на свой лад в прохладной
тепи прекрасного лавра: одна, сняв красивый венок с
золотистых волос и разувшись, белоснежной ступней
касалась холодных струй, другая, распустив покровы,

стеснявшие руки и грудь, обмахивалась тонкой фатой, в безветрии призывая к себе прохладные дуновенья, как некогда Кефал без надежды призывал к себе скрывающуюся в чаще Прокриду; третья, в изнеможенье от зноя, склонив золотистую голову на сложенную накидку, нежилась в гуще свежей травы. И, внимая тем временем пенью Амето, то и дело посмеивались и перебивали его веселыми шутками. А после того как он умолк, Лия обратилась к ним с такими словами:

— Друзья, солнце еще удерживает дель в равновесии, палящие лучи его не пускают нас покинуть прохладу; дремлют пастухи, чьи свирели радовали наш слух, теперь до заката мы лишены всяких развлечений, кроме тех, какими может одарить нас беседа; и ничто не подобало бы нам более в праздник Венеры, как поведать каждой о своей любви. Вы все молоды, как и я, и ничто в нашей наружности не наводит на мысль, что мы прожили свои годы, не изведав пламени этой чтимой нами богини. Беседуя, мы расскажем друг другу, кто мы, и не в убогой праздности проведем ясный день, который нельзя даровать ни спу, потатчику всех пороков, ни кормилице их, холодной лени.

Согласившись, каждая обещала в придачу к рассказу нежным голосом в благочестивых стихах воспеть ту богиню, которой особо служит, и Юпитера, которому все подвластны. Замысел тотчас повлек за собой исполнение: поднявшись, нимфы уселись в круг на мягкой траве и, усадив в середине Амето, с улыбкой облекли его властью по своему произволу назначить ту, что первая поведает о своей любви; довольный столь важным поручением, он чуть отодвинулся в сторону, чтобы видеть всех дам, и с улыбкой приказал пачинать нимфе в розовом, сидевшей от него по правую руку; повинувшись без оговорок, она так приступила:

XVIII

— Амето, по праву не мудрейшей, по старшей, я первой, как ты велел, задам топ нашему милому хору, над которым мы поставили тебя главным; выслушай же наши любовные повести и узнай по нашему примеру, как усерднее повиноваться возлюбленной твоей Лии.

И, обратившись ясным лицом к подругам, она так начала:

— На возвышенной равнине, омываемой волнами Эгейского моря, расположен прекрасный город, чье имя вызвало столь долгую распрю среди богов, там Марс однажды, не без взаимного согласия, похитил невинность у некой прекрасной нимфы, обитательницы того края; должно быть, страхась позора изгнанной Каллисто, она, тотчас как узнала, что могущественный бог отнял у нее непорочность, никому не сказавшись, оставила благую свиту Дианы. Однако за отпятый цвет невинности бог вознаградил ее чрево, и, когда подоспел срок, она решилась от бремени в своем жилище; пестуя дочку, она взрастила ее до поры замужества в блеске счастливой красоты; и уж какая тому была причина, не знаю,— то ли девочка родилась без волос, то ли в младенчестве лишилась их от недуга,— только назвала она дочь Котруллой. И как драгоценность берегла ее до положенного срока, когда выдала замуж за юношу из знатной семьи. Родом он был из тех же мест и принадлежал к семейству, которому в этом крае некогда была вверена власть божественной птицей, отчего и пошло его и поныне славное имя; юноше так прихлась по душе нареченная, что, оставив имя свое и предков, он принял имя супруги, увековечив его в потомстве, которое щедро даровала ему Люцина. Произойдя от него, в том же пышнейшем городе родился и мой отец; почтенный доспехами рыцаря, он был именитейший среди тех, кто правил общественными делами, и, живя в достатке, взысканный богами, меня, ими дарованную дочь, нарек Мопсой. Видя, что я, еще маленькая, уже обещаю стать красивейшей, он посвятил меня Палладе; благосклонно припяла меня богиня в священных гротах, выбитых копытом коня, рожденного от Горгоны, она допустила меня в собрание муз, где я вкусила кастальских струй и твердой рукой искала вершины Кирры, пытающей звезды; благоговейно почитала я бледные лики мудрейших, жителей тех высот, и нередко, когда Аполлон пел под звуки кифары, я внимала ему в кругу девяти муз. Но вот я достигла возраста, положенного для супружества, отец мой, должно быть, по внушенью Юноны, счел мою наружность достойной объятий и, как благочестивый родитель — хотя благ был замысел, но не его исполнение, ибо доволен был тот, кто брал, но не та, кого отдавали,— в ожидании

внуков сочетал меня священными узами брака с одним человеком, усердно служившим Вертумну. Но как я вспомню того, кто мне, нестроптивной, послушной родительской воле, достался в мужья, так находит на меня страх: не даром он носит имя того, кто пятым после Юлия Цезаря взошел на монарший престол — весь мир со скорбью дивился его поступкам, а более всех вскормившая его мать, которой худо пришлось от сына, не оттого ли, что в попечениях о его же благе учинила злодейство над Клавдием и Британиком.

Для меня же тот, кого отец дал мне в сунруги, стал сущим наказанием, а не мужем; он так безобразен собой, что ради его целомудренных объятий я не могла позабыть Паллады, которой и прежде служила, а теперь служу с еще большим усердием. Однажды, в ту пору, когда Феб, покинув созвездие Пса, умеряет жар палящих лучей под стопой немейского льва, я шла беспечно по берегу моря, всей грудью вдыхая дуновение свежего ветра. Отогнав от себя докучные страхи, я погружалась воображеньем в науки, напрягая непослушную память, когда внезапно мысли мои приняли иной оборот: взглянув на воды, я увидела в челне, плывущем по зыбким волнам, прекрасного видом юношу, имя его, как я потом узнала через соседей, было Аффроп. Зорким глазом я тотчас заметила, что морские забавы его и страшат, и прельщают, отчего он и в открытое море не держит челнок, и к берегу не хочет пристать, но, правя неопытной рукой, неуклюже ведет его вдоль суши. Тем временем красота юноши проникла мне в душу, и я, по внушенью той самой богини, о которой мы уговорились здесь рассуждать, томным голосом стала призывать его выйти на берег. Однако, по простоте своей или пренебрегая мной, он не только не внял моим призывам, но едва удостоил ответа и с еще большим упрямством повлек неверный челн дальше вдоль берега моря. Не отступаясь, я следовала за ним близ самой воды, с пламенным желаньем взирала на его грубую наружность и с тревогой размышляла об опасностях, которые моим глазам были столь очевидны; и как ни пезежественен он был в обхождении со мной, сраженная любовью, я возгласами и увещаньями предупреждала его о грозящих бедах. Но все было без толку, а меня тем сильнее томил желанье, не раз я была готова броситься в море, чтобы вызволить его из беды, но с трепетом вспоминала,

какая участь постигла волей морских богов злополучную Сциллу, и беглянку Аретузу, и еще многих других; страх тотчас укрощал мой порыв, и, в надежде голосом больше помочь делу, чем телесной силой, я так возошла:

«О юноша, от кого ты бежишь? Если ты бежишь от меня, то в чем же ищешь спасенья, я не очумелый зверь, как те злосчастные псы, что растерзали тело хозяина своего Актеона, я не вакханка, преследующая тебя, подобно несчастной Агаве с сестрами, в безумии настигнутой Пенфеей. Я благородная нимфа здешних мест и люблю тебя превыше всего на свете; не прочь от меня, а ко мне правь, и тебя не поглотит бурное море, под чьей обманчивой гладью таятся пучины. Кто усомнится в том, что Дафна, познай она Феба со спокойной душой, не стремилась бы прочь от него и не просила заступничества богов, из-за которого до сих пор зеленеет лавром? Никто, если здравым умом припомнит о сладостных объятьях, которые с ним познала Климена. Так и ты беги от своей суровости, если не хочешь себе вреда; приди ко мне, и я так же приму тебя в объятья, как Геро — обесиленного и промокшего до костей Леандра; равных этим объятьям ты не изведal. Что же ты? Какой страх, какая робость тебе мешают? Какая богиня Эвменида тебя страшит? Может, ты боишься меня, боишься, как бы не случилось с тобой того же, что с Гермафродитом из-за влюбленной Сальмаки? Но в этом деле не с нее спрос, а с богов, которым угодно было так поступить; я же помогаю другому; ты вознегодуешь, и поделом, на свое упрямство, когда узнаешь мои желанья. Да разве могу я видом внушить страх хоть единой душе? По мне, красивейшей на Парнасе, вздыхали боги, и немало их мне служило, сам Аполлоп, озаряющий светом разом землю и небо, искал моих милостей и, явив мне свои таланты, посвятил в тайны искусства, ни одной не укрыв, да к тому же наделил меня тем, что отнял у обманувшей его Кассандры: люди верят моим прорицаньям, а, сверх того, он сделал меня бессмертной. Ты, верпо, оттого убегаешь, что не знаешь, кто я, так слушай же. Я дочь благородных родителей, дала обеты Палладе, всеми чтимой богине, ее благой волей я нимфа горы Парнас, еще в младенчестве у груди парнасских муз я вкусила их сладостного молока. И богиней моей я столь взыскана, что мне внятны тайные прорицанья Кирры; я знаю

прошедшее и провижу грядущее так, точно зрю его воочию. Только ты, хоть ты и рядом со мной, по-прежнему мне недоступен, и я сомневаюсь в самой себе. Но как бы ты ни противился, я знаю, ты достоин моей красоты, и, если правда то, что мне приходилось видеть, ты еще будешь ею счастливо обладать. Но желание нудит меня приблизить срок, чрезмерно отдаляемый твоим упрямством. Приди же, о юноша, мореплавание не столь любезное ремесло, как то, которому я обучу тебя. Я владею щитом Паллады, обтянутым шкурой козы, вскормившей Юпитера, копьем и убором Минервы, я держу се птиц для твоих забав, я подарю тебе меч, которым Персей отсек мерзостную голову Медузы. А если во всеоружье ты вздумаешь посетить горние сферы, я покажу тебе, как привязывать крылья к стопам, и ты превзойдешь в искусстве Дедала, тебя не устрасит жаркое небо и влажное море. Со мной ты узнаешь чертоги богов, где ничто от меня не сокрыто, пропикнешь в тайну быстрых ветров и бурных движений вод; поймешь, почему земля обнажается под знаком Весов и возрождается под знаком Овна. Поспеши ко мне, дары мои еще превзойдут обещанья. Отзовись, о юноша, на мой голос, открой слух и внимли: если меня, прекрасную, могучую, щедрую в дарах, ты отвергнешь, я мольбами обрушу на тебя праведный гнев богов, и как Амфиарая на виду у фиванцев чрез отверстую бездну с колесницей поглотил Дит, так и тебя вместе с челном поглотит пучина».

Много раз я взывала к нему, твердила и обещания, и угрозы, но слова мои уносились с ветром. И, не обнадеживая меня проверенный опыт, я бы с отчаянья отправилась к стигийским теням вслед за несчастной Библидой, наложившей на себя руки из-за упрямства Кавна. Но что попусту растекаться в словах. Чем больше он ожесточался против меня, тем сильнее язвило меня пламя священной Венеры, сверху взиравшей на паше едипоборство. Тогда я измыслила новый довод, и, хотя может показаться, что мой поступок впору скорее разпузданной жепщине, я не скрою его от вас, ибо вы горите тем же огнем, что и я, и отгпою стыд, уже заливший румянцем мои щеки. Так вот, длинное, как сейчас, одеянье, касавшееся земли и опоясанное у бедер, я подняла много выше, чем подобает, сделав вид, что опасаясь волп, и обнажила белые ноги, к которым он тотчас, как я заметила, устремил жадные взгляды, но и тут с прежней жестокостью не пе-

рестал противиться моим желаньям. Тогда, решившись переломить его, я сбросила с плеч легкое покрывало, точно мне было певмоготу от зноя, и, слегка пагнувшись, без слов, позволила ему обозреть прелести нежной груди; едва их увидев, побежденный, он повернул ко мне нос челна и обратился с такими словами: «Юная дева, подожди, я сражен твоей красотой; вот я спешу, готовый к твоим уладам».

Как только его речь достигла моего слуха, радость обуяла меня, точь-в-точь как царя Итаки у берегов дочери Солица, когда он узнал, что Киллений послан ему на помощь. Сойдя на берег и удостоившись моих объятий, он из увальня превратился в просвещенного юношу, и отныне в наших пределах нет никого, кто превзошел бы его славой или талантами. Затратив столько усилий, испытал муки любовного жара, я познала благополучный конец, и это часто дает мне повод украшать себя, петь и празднично веселиться. А так как Венера благоприятствовала моей любви, то в дни ее празднеств я с торжественными воскурениями посещаю ее алтари и надеюсь, что всегда буду посещать их с моим Аффроном.

Так окопчив рассказ, она нежным голосом на приятную мелодию запела:

XIX

Юпитером рожденная Паллада,
величие являя в небесах,
блустительница и земного лада,

и, безупречная в своих красах,
чтит благосклонного отца и бога,
могучего во многих чудесах,

и учит, как достичь его чертога
и обрести всегдашний мир и лад,
забыв, что есть забота и тревога;

впушепием ее и стар и млад
умудрены и держатся подале
от струй Стигийских, где печаль и хлад;

и без нее спасемся мы едва ли
и, вечных от нее сподобясь благ,
поймем, что на земные уповали.

И ею край преуспеваает всяк,
и правят государи, и в злосчастье
она укажет путь и явит знак.

И если кто-то из живых причастье
к ее дарам стремится возыметь, —
немедля принимает в нем участие.

И прошлое, и то, что будет впредь,
определив, оценит взглядом ясным,
способным сокровенное прозреть.

И ликом, из прекраснейших прекрасным,
вовек непреходящей красотой,
и промыслом всегдашним и всечасным

влияет на людей, дабы тщетой
сердца не замутили, как туманом,
и дарит безупречной чистотой

их души, что в усердьи неустанном
ко благу вечному идти должны,
как прежде, к благам тщетным и обманым;

и преданные ей награждены
тем, что приятны, искренни, почтенны,
щедры, красноречивы и умны.

О, сколь сии влиянья драгоценны,
а те, кто неустанно ищет их,
меж прочих безупречны и блаженны,

хоть мало сих средь множества слепых.

XX

Речи нимфы, ее пылкая страсть, дивная красота и ангельский голос, равно как и дивный напев, исполнили Амето таким восхищеньем, что он, полагая Аффрона счастливейшим из возлюбленных, не раз пожелал оказаться на

ого месте. Уж он бы уступил куда меньшим мольбам, да, по правде сказать, если бы думал, что из этого выйдет толк, сам простер бы мольбы перед прекрасной нимфой. И раньше она ему нравилась, а теперь, после рассказа, стала нравиться еще больше, если бы ему достало силы отлучить от сердца любовь к Лии, он сделал бы это ради Мопсы, но сил не достанет. Однако, насколько это было возможно, рядом с Лией он принял в душу и прекрасную нимфу, и вместо одной стрелы оказался пронзен сразу двумя. Похвалив речь и пение послушной нимфы, он обвел взглядом круг в раздумье, кому указать черед. И обратился к той, что сидела подле первой, одетая в пурпур:

— О дева, вам надлежит продолжить!

С шаловливым движением, чуть потупившись и от смущения покраснев, она отвечала, что готова повиноваться, и тотчас плавным голосом начала:

XXI

— В тех краях, которые омывает своими волнами бестроводный Алфей, свергнувшись с высоких скал, почти в середине между истоком и устьем находится местность, где родился мой отец. Простолудин по рождению, он смолоду полюбил досуги знати и оставил ремесло отца, усердно служившего Минерве. Породив меня от нимфы Корита, речистой, как дочери Пиэра, пад ясными водами ближней реки, он отдал меня наядам, обитательницам тех мест. А недолгое время спустя после моего рождения покинул мир, расставшись душой с брэнной плотью. Чуждаясь как веретеп и пряжи Минервы, которой служил мой дед, так и досугов отца и говорливости матери, я с раннего отрочества предалась служенью Латоне и любила носить ее мстящие луки. Я уже знала, какая кара постигла надменную Ниобу, когда сама вступила в свиту Дианы; и так понравилась ей, что она полюбила меня больше всех девственниц, принявших ее обеты, и, радея обо мне, обучила своим искусствам. Но когда мне исполнилось чуть меньше лет, чем сейчас, и по возрасту я уже годилась в невесты, моя мать однажды заговорила со мной такими словами: «Эмилия, дорогая дочка, ты одна мне осталась опорой в старости, прошу тебя, отступи от своих обетов и приготовься служить Юноне, у которой твоя

непорочная красота испрашивает супруга. По дочернему долгу ты обязана дать мне внуков, как я их родила своей матери. Ты сама похвалишь себя за то, что вняла моему совету, когда, как я надеюсь, Люцина одарит тебя потомством; а если ты ослушаешься меня, пеняй на себя, я лишу тебя родительского благословенья».

Выслушав материнскую волю, я прежде всего испросила прощения у моей богини и, заключив, что оно мне даровано, по благосклонному движению ее образа, отвечала, что готова к супружеству, но никогда не оставлю Дианы ради другой богини, если она сама меня не отвергнет. Моя мать, довольная, согласилась и, подыскав юношу по сердцу, чье приятное имя мне понравилось, выдала меня за него замуж. Когда меня привели к нему в дом, гости обильно осыпали мне голову зерном, даром Цереры, приказали сорвать три лепестка с венка Гименея, свидетеля моей чистоты и веселого гостя на свадьбе, и под звуки авзонийских инструментов и шумное веселье праздничной молодежи я вошла в спальню супруга, неся перед собой зажженные факелы счастливой, как мне тогда казалось, рукой. Счастливой, довольной могла бы я назваться в то время, если бы Юнона, покровительница брачных уз, не отдернула руку, наслав на нас горькие испытанья,— видно, не простила она мне того, что я не захотела ее дарам посвятить мою красоту и оставить Диану, чьих милостей я не могла забыть и в супружестве; и хотя, отпраздновав свадьбу, я стала недостойна свиты Дианы, но сама не отступилась от богини и ею не была отвергнута, когда, подобно Каллисто, предстала однажды у источника с бременем, от которого спустя срок разрешилась сыном.

Так я жила, не зная других богов, но вот недавно, когда я посещала храмы нашего города и особенно тот, чьи алтари мы почтили сегодня, парядю убранная и красивая, некий юноша напел мне на ухо приятные стихи, и только он их пропел, как мне предстала святейшая Венера, спустившаяся с неба в таком же сиянье, в каком почтенному Анхизу, бегущему прочь от ужасного пламени, охватившего кровли, явился среди тьмы его предок. С первого же взгляда раскрылось перед ней мое теплое сердце, и она навечно проникла в него огнем и переменяла во мне нравы, обычаи и привычки. Но так прочна была благосклонность ко мне Дианы, что она и тут меня не отвергла, напротив, я еще больше, как мне казалось, вошла к ней в милость.

И вот когда грудь моя пылала огнем святейшей богини, я отправилась как-то одна погулять по лугам с луком и стрелами и, нечаянно возведя глаза, увидела прямо перед собой в воздухе блистающую огнем колесницу, запряженную двумя драконами, подобно колеснице Медеи, спасавшейся от гонителя своего Тесея; правила ею надменная, сверкающая тем же огнем дева в чудных доспехах, в стальном шлеме с высоким гребнем, со щитом в руке, летя прямо к небу стремительнее пущенных тугой тетивой турецких стрел, которым нет равных. Подле нее восседал прекраснейший дух, зажженный ее огнем; и вместе они не раз пытались взять приступом высшие небесные сферы, но отвергнутые, скитаясь по воздуху и оглашая его падменными голосами, распевали такие стихи:

XXII

Когда бы Этпа к мысу Лилибей
подвинула свой огненный чертог,
освободивши голову Тифея,

когда бы Апеннины с мощных пог,
а с рук сползли Пелор и гнет Пахина —
и снова бы Тифей воспрянуть мог,

то все равно бы сила исполина
была ничтожна против наших сил,
хоть много зла творила беспричинно;

слабее нас и те, кто громоздил
на гору гору в дерзком произволе
и низложить Юпитера грозил

и небесами завладеть — доколе
громá Юпитер не решил метнуть, —
и враг побит был на Флегрейском поле;

слабей и те, кого когда-нибудь
сожгла стрела небес — а значит, к небу,
не мешкая, проложим дерзкий путь.

И если небосвод нам на потребу
не отворят бессмертные — тогда
они рискуют угодить к Эребу,

или другая им грозит беда —
к Плутону в бездну под глухие своды
строптивцев мы отправим навсегда;

и лучше, если неба верховоды
сочтут за честь внезапный наш приезд
и нас причислят в чин своей породы.

И паша доблесть все затмит окрест,
а благородству место не опасно
там, где богатству есть в достатке мест.

Могуча наша младость и прекрасна,
свободно сердце и душа вольна, —
живем, не сокрушаясь ежечасно.

Ни башня, ни зубчатая стена
не сдержат нас; в стремленье непреклонном
нам нипочем ни толщ, ни крутизна.

Вверяясь огнедышащим драконам,
мы совершаем огненный полет
к непостижимым горним небосклонам.

Но если в небо нам закажут вход,
мы тотчас, уподобясь Фаэтону,
спалим дотла и лучезарный свод,

и всех богов, — докажем небосклону
и тем, кто не пустил нас на порог,
что отомстить умеем за препону —

чем и наказан будет их порок.

XXIII

Удержав стихи в цепкой памяти, я опустила глаза долу, не в силах более вынести блеска, и прямо перед собой увидела Венеру на зеленом лугу, подобную Елене, склонившейся над мертвым Парисом. Правой рукой она сжимала отпущенные поводья ожидавшего коня, а левой удерживала щит и копьё. И казалось, что она плачет — если бы могли плакать глаза бессмертных, — устремив

взор на юношу в прекрасных доспехах, простертого на траве и, как показалось мне, бездыханного. Как повелевает обычай, я преклонила колени на зеленой траве и, для начала почтив богиню, спросила: «О священнойшее божество, мать любовных усад, я, раба твоя, прошу, внимли моей речи и удостой ее ответа божественных уст; и, если моего слуха дозволено коснуться твоим словам, не скрой от меня причину скорби, замутившей ясный божественный лик, скажи мне, кто этот мертвый юноша, на которого ты зрираешь?»

Небесным голосом она отвечала: «Милая дева, тот, кого ты здесь видишь, был поручен мне сиротой, и я растила его, обучая, пока он не достиг возмужалости, о которой ты можешь судить по его густой бороде; я даровала ему коня и доспехи; опоясав, сделала своим рыцарем. И вот теперь, когда долгие труды были близки к достойному завершенью, некое божество, похитив у меня его дух, скитается с ним в поднебесье, причиняя мне горчайшую из обид; и оттого меня снедает тоска, которую я едва в силах вынести божественной грудью. Но из-за того, что богам не дано переменить того, что судили другие боги, я не могу положить предел своему страданью».

Внимательно выслушав священную речь и почувствовав жалость, я сказала: «О богиня, дай волю гневу и умерь свое горе, не смягченное сроком, ему не место там, где нужна помощь. Если тебе угодно принять ее от меня, я смертной рукой попробую сделать то, что богам возбраняется их уставом, и, кто знает, может быть, сумею вернуть тебе оруженосца целым и невредимым, всей душой готовым нести твою службу».

Сказав это, я переложила стрелы в другую руку и, приблизившись к охладелому телу юноши, чуть дотронулась до едва трепетавшей обнаженной груди. Он задрожал, выказывая устрашающие признаки близкой смерти, беспорядочными движениями напрягая каждую жилу. Но постепенно теплом собственной руки я согрела похолодевшее тело и почувствовала, как в него возвращается излетевший дух, как он воскресает и как сердце наполняет кровью каждую жилу. Видя, что желанная цель близка, я сказала: «Богиня, утешься! Заблудшая, но не погибшая жизнь возвращается в тело, чей дух, где бы он ни был, мы своей силой отзовем к исполнению долга».

И я поддерживала теплом руки слабую жизнь до тех пор, пока не увидела, что бледность лица начинает

понемногу сменяться румянцем, а члены приходят в движение, подобно водной глади, тронутой легким ветром. Только успела отлетевшая было жизнь вновь укрепиться в теле, как юноша сел, словно тот, другой, который предстал среди Фессалийских гор недостойному сыну Помпея, когда Эрихто заклинаньями вызвала его от Стигийских вод; издав болезненный стон, он тотчас упал бы, если бы я не поддержала его рукой. Обратив глаза, долгое время томившиеся в потемках Дита, к лику сострадательной богини, он едва вынес его сиянье и, пристыженный, еще безгласный, всем униженным видом взмолился о прощении за отступничество. Увидев это, богиня, довольная, выпрямилась во весь рост и благосклонно пообещала ему снисхождение к его провинностям, которое и даровала, как только он испросил его, обретя голос; за это она потребовала впредь не совершать подобных проступков, если только потемки Ахеронта ему не дороже, чем ясный свет ее царства. Сверх того, она приказала ему в искупленье греха не покидать и усердно чтить меня, как спасительницу его жизни, и с радостью в лице поручила его моим благодетельным попеченьям. С этими словами она стремительно исчезла в небе, разлив кругом того места дивный свет и благоухание драгоценнейших ароматов.

А я осталась одна с юношей, чье тело уже совсем согрелось, и, довольная подарком богов, видя, что юноша уже обрел дар речи, спросила, из каких мест он родом, как его имя и что с ним случилось, чтобы лучше понять, кто же был мне дарован. Он отвечал мне: «Прекраснейшая дева, единственная опора и надежда моей жизни, над Ксанфом, красивейшей рекой во Фригии, несущей ясные воды, еще видны развалины града, некогда окруженного высочайшей стеной, которую возвел Нептун под звук Аполлоновой кифары. Но когда ярость греков обрекла прожорству огня все, чем он мог папитаться, и высокие башни, с великой затратой сил вознесенные к небу, вершинами коснулись земли, а та, что была причиной несчастий, вернулась в оставленную спальню супруга, тогда то из города вышла на вечное изгнание толпа молодых людей. В скитаниях оставив за собой африкапские берега и громаду, придавившую надменную главу Тифея, и обильные царства Авзонии, они переправились через жадные волны Рубикона и Родана и остановились на приветливых берегах Сепы; с теми же уповањьями, с какими Кадм некогда воздвиг Фиванскую крепость, они основали там

город и поселились в нем на благо себе и своим потомкам. С тех пор как среди смертных явилось божественное дитя, протекло в том городе двенадцать веков и еще девять десятых от тринадцатого столетия — подобно тому как сейчас от четырнадцатого протекло две пятых — до того времени, когда от одних благородных родителей родилась дочь, которую они в положенный срок благочестиво с факелами выдали замуж за служителя Марса, полагая, что совершают добрый поступок. А тем временем между скудных гор, примерно на полпути от Корита до земли кормилицы Ромула, у Тритолема, человека безвестного, без имени и достатка, из нужды служившего Сатурну и Церере, от простой нимфы родился мальчик, чье имя, ничем не прославленное, я не стану упоминать.

Унаследовав поле и все, чем владел отец, он, однако, переменял занятия, не желая идти по стопам родителя, скрыл под обманчивой личиной грубые нравы и с величайшим усердием принялся служить Юноне; благосклонная к нему богиня привела его к берегам Сены, где он долго жил в изобилии благ, выдавая себя за человека знатного рода и от всех знатных людей скрывая правду о своем ремесле. Между тем в доме молодой женщины, чью свадьбу омрачил зловецким криком унылый филип, исполнилось дурное предзнаменование: жестокая смерть похитила у нее того, кто, проживи он еще немного, стал бы моим отцом; юная годами и разумом, она осталась без супруга на вдовьем ложе и в горьких слезах проводила темные ночи до тех пор, пока не увидела, правда, не знаю где, чужестранца, юношу почтенного вида; а увидев его, тотчас воспылала к нему любовью, подобно Дидоне при виде чужестранца Энея. И как у той память о Сихее канула в Лету, так у этой — о первом муже, как только она предалась новой любви в надежде возместить утраченные радости с новым возлюбленным; но как ни мало их оставалось, и им вскоре по вине его положила конец печальная смерть. Он, не меньше прельщенный ею, чем она им, но сжигаемый более пылкой страстью, немало сил положил на то, чтобы найти способ утолить свое пламя; и, может быть, оно не погасло бы, если бы не возымел дурных последствий обман. Молодая женщина, дорожа своей честью, воспротивилась его желаньям и, в страхе перед родными братьями, упорно не поддавалась натиску пылкой страсти; как ни старался юноша, никак не мог привести дело к тому, чего так желал.

Однако при помощи разных ухищрений ему наконец удалось привести в исполнение один из своих замыслов. И когда наконец он остался наедине с молодой женщиной в укромном месте, то оба в страхе смиренными головами призывали Юнону, прося ее освятить их объятия неразсторжимыми узами брака и тайну его сохранить до тех пор, пока обстоятельства не позволят им с должной торжественностью открыться перед всем миром, а под конец поклялись друг другу Юноной, что никогда он не будет принадлежать другой, а она другому, если не вмешается смерть, и скорее Сена потечет вспять от моря, чем они нарушат свою клятву. Юнона, находясь рядом, подала знак, что вняла мольбам, и милостиво не позволила остаться бесплодными их любовным объятиям; от них и родился я, который достался бы лучшему отцу, если бы Атропос не поспешила оборвать нить его жизни; родители нарекли меня именем Ибрид, и так я по сей день прозываюсь.

Однако отец мой, недостойный такой супруги, следуя своему жребию, попрал обеты и клятвы, данные им моей матери. А боги, равнодушные к вероломству человека дурного, придержали до поры до времени месть и как бы махнули на него рукой, будь, мол, что будет; он же обманом взял себе в жены одну свою соотечественницу. Но и Юнона, и Гименей, вторично призванные, на этот раз отказали в благословении; мало того, осердясь на прелюбодейку жену и обманщика мужа, Юнона в праведном гневе лишила его большей части дарованных благ, уготовила ему полное разорение, предвещая гибель, и предала проклятию все их потомство, продолжая насыпать беды на тех, кто так или иначе способствовал делу. Между тем я достиг отрочества и в угоду богине, которой младенцем был оставлен на попечение, стал посещать палестры и пробовать силы на разных поприщах; а Фортуна оказалась ко мне столь милостива, что я прослыл и слыву опасным соперником в состязаниях.

Однако благоуханный цветок развился в негодный плод, ибо я возомнил себя чуть ли не достойным славы Геракла и, залетев помыслами выше, чем то угодно богам, метил попасть в небожители, правя, как вы видели, огненной колесницей, запряженной парой свирепых драконов. Однако небеса замкнулись предо мной, и обессилевшие драконы были уже на волосок от крушения, неминуемо грозившего мне смертью. Но тут, благодаря вам, я вер-

пулся к жизни, поэтому приказывайте мне все, что сочтете нужным, ибо отныне я ваш, вавеки покорный вашим желаньям, и чего бы вы ни потребовали от меня, я все исполню ревностно и неукоснительно».

Так он сказал и умолк, не сводя с меня глаз. Но я ничего не потребовала от возвращенного к жизни юноши, только просила его обратиться к прежним занятиям и все сделать для того, чтобы прекрасный, уже распустившийся цветок развился в достойный плод, а кроме того, чтобы после богини я одна стала госпожой его помыслов, обещая ему за то все дары, какими награждает моя богиня.

Доведя до конца свою повесть, прекрасная дева, по заведенному порядку, мелодичным голосом запела:

XXIV

Погасит жар в своих волнах Диана,
и лук ее обидчику грозит,
а месть ее ужасна и нежданна,

разгневавшись, богиня не щадит;
тому примером участь Актеона, —
он псами был затравлен и убит.

Всегдашняя защитница закона,
Астреи справедливее она,
строга, непогрешима, непреклонна.

Кто нрав ее сумел постичь сполна
и внял его воздействию благому,
тому несносна ложь и не нужна,

чего не любит — не сулит другому,
и никого не обижает зря,
и рад служить знакомцу и чужому.

И, справедливость на земле творя,
она весы и меч горé подъемлет,
простых даря, заносчивых коря.

Когда же алчность злобная не дремлет —
мать распрей и начало всяких ссор —
и все своим могуществом объемлет,

она вершит над алчностью надзор,
и умеряет та свою природу,
поскольку суд неотвратим и скор;

И если б люди нѣ жили в угоду
и низменной, и злобной силе той,
они скорбей бы не знавали сроду.

Но те, кто каждодневною тщетой
на беды обрекли себя жестоко,
терзаются последнею бедой,

им уготованной по воле рока,
и молят, плача и стеная, ту,
что с их поступков не сводила ока.

И суд она свершит начистоту,
и гнев Юпитера огнем обрушит,
карая злобу и неправоту.

А кто с ней, благодатною, не дружит,
пусть от нее, неумолимой, тот
и месть, и кару для себя заслужит;

и будет всяк, кто благостную ждет,
стократ блажен, а тот, кто злобой мучим,
с подобными себе в грехе умрет.

мир уступив и праведным, и лучшим.

XXV

Умолкла сладостная песнь нежной девы, тешившая слух Амето так же, как слух Аргуса песнь Атлаитова внука; в третий раз ощутив пламя в груди, он отвел взгляд от небесного лика и со вздохом подумал:

«О Ипах, хоть тебе все под силу, но не проще ли было обратиться в Ибрида, а его в Амето, чем заменять молящей матери девочку Ифис мальчиком? О, как бы я желал быть превращенным в Ибрида и какие мольбы вознес бы тебе, если бы смел надеяться, что сподоблюсь такой благодати!»

А вслух сказал, оглядев внимающих нимф:

— О прекрасная дева, благородной речью и песнью последуйте примеру подруг.

Видя, что эти слова обращены к ней, нимфа, облаченная в пурпур, прелестно рассмеялась и, закинув голову, приступила к рассказу:

XXVI

— Разве не благоразумнее было бы мне промолчать, после того как от двух подруг мы выслушали о подобной любви? Так бы я и поступила, если бы не боялась нарушить нами же заведенный порядок. Но раз на то пошло, расскажу и я о своем, не столь жарком, как у них, любовном пламени. Отец мой родом с Кипра, богатого городами; происхождением и душой он благороден, но ремеслом простолюдин. Рыцарское достоинство он сложил с себя вместе с родовым могучим щитом, где в лазурном поле изображены лучи Феба и зверь, под чьим знаком солнцу весело в небе; а все силы положил на стяжание благ Сатурнии, дабы обогатиться. Разбогатева, он присватал мою мать, слышную в ту пору по всему Кипру красивейшей нимфой, и брак их оказался счастлив и угоден богам: кроме меня, у них родилось много других детей, обликом подобных родителям. Покуда я, юная и резвая, подрастала, простодушно вытягивая нити Лахесис, заботливая Помона в просторных садах заметила славного мальчика, который родился от соков молодого отпрыска старинной крепкой груши и от силы солнечных лучей у некой нимфы; выпестовала его как рожденного среди ее пег, а так как он был кроток и миролюбив, то и нарекла его Пачифико. Подрастая, он оправдал свое имя, и когда достиг возмужалости, богиня сделала его служителем Вертумна, а потом — ибо мы были ровесники — моим супругом. Он мне понравился и правится больше всех, и никто другой не заставил и не заставит меня о нем позабыть. Любимая им, я решила служить Помоне так же, как он служил Вертумну, чтобы, обучившись ее ремеслу, бежать праздности; как надумала, так и сделала, с благословения богини. По лику Дианы она назвала меня Адидной и однажды, взяв за руку, сказала: «Пойди со мной, взгляни на дело моих рук, увидишь, на что я не жалею трудов».

И она подвела меня к вратам сада, за которыми мне открылось немало чудес. Следуя по нему за богиней, я подивилась, в сколь стройном порядке содержит она угоды, особенно прекрасные в лучах Аполлона, который тогда находился в той же части неба, что нынче. На глаз сад представился мне квадратным и в меру просторным; каждой стороной в ограде высоких стен он обращен к одной из стран света, а внутри его нет ни одного праздного или неразумно занятого уголка. Кругом вдоль стен бежит ровная тропа шириной как та, что ведет отсюда к храму. Поверху она, уподобясь галереям дворца, крытым каменными сводами, защищена от солнца тростником Сиринги, а к нему искусной рукой привязаны виноградные лозы, оплетшие его стеблями и листьями, что выткали дочери царя Минея; в раннюю пору года лозы благоухают цветами, а позже отягощаются золотистыми и рдяными гроздьями; побеги их соприкасаются со стеной, а проход под сводом остается свободным. Вдоль стены для отдохновения на небольшом уклоне расставлены изящные каменные скамьи, которые отстоят от нее настолько, чтобы по ширине быть удобными для сидящих и позади оставлять простор для разнотравья.

Там произрастает и горячая сальвия с белесой кустистой головкой, над которой простер стебли с узкими листиками розмарин; и в изобилии шалфей, известный множеством целебных свойств; должное место отведено и мяте с душистым майораном в мелких листочках; целый угол там занят холодной рутой и высокой горчицей, которая враждебна носу, но отменно прочищает мозги. В изобилии растет там тмин, змеясь по земле тонкими побегами, и шершавый базилик, ароматом подражавший когда-то гвоздике, и буйный сельдерей, которым Геракл некогда увенчал главу. И мальва, и настурции, и укроп, и пахучий анис с холодящей петрушкой. Но зачем перечислять все травы одну за другой. Сколько я могу их назвать, все там были, и еще сверх того немало. Но слушайте дальше: по правую руку проход надежнее защищен от жгучих лучей Аполлона, ибо вдоль тропы не тесно и не слишком просторно рассажены разные деревья; они служат опорой обильным лозам, вместе с тонким тростниковым плетением, подобным сети, в которую обманом уловляют бегущих зверей, отгораживают тропу от грядок и борозд. Но не бородавником и не белой бирючиной оплетена изгородь, а, как вяз плющом, сверху донизу увита густым

жасмином и колючими розами. Как ясное небо в звездах радуется зренью, так радуется ему эта зеленеющая изгородь, усыпанная цветами; белыми и алыми розами, которых так желал Люций, когда, превращенный в осла, утратил людское обличье, и кое-где белыми лилиями. Да и сама тропа не поросла сухим пыреем или цепким чертополохом, а весело пестреет цветами. Здесь и Нарцисс, и оплаканный Адонис, и Клития, любимая Солнцем,— все в пышном изобилии, несчастный Гиацинт, и превращенный Аякс, и многие другие, любезные взору, отчего вся тропа столь многоцветна, что с ней едва ли сравнятся турецкие ковры или пестротканые полотна Минервы.

Обойдя сад кругом, как было угодно Помоне, мы отправились в глубь его по тропе, выходящей из середины одной из четырех сторон; тропа эта во всем подобна описанной, только та с одного боку ограждена стеной, а эта с обеих — цветами. По ней мы вышли на прекрасную лужайку, по величине соразмерную саду, от середины которой отходили еще три такие же тропы, выводящие каждая к середине одной из сторон сада. Но я прежде обратила взгляд вверх и увидела, что сверху лужайка, как и тропы, закрыта от солнца и видом напоминает растянутый на поле боя шатер.

Этим и всем прочим виденным я не могла нахвалиться; но когда я опустила взгляд ниже, то увидела диво, достойное еще большей хвалы, из-за которого чуть не позабыла обо всем остальном. Посреди лужайки располагался многоводный фонтан из белого резного мрамора с множеством отделений, по желанию Помоны то обильных, то скудных водой. Струя била из тонкой трубки к небу и опадала в источник с нежным журчаньем, а когда надо, через маленькие отверстия разбрызгивалась далеко по траве и тем самым, неприметно снаружи, орошала весь дивный сад, как объяснила мне и показала сама Помона. Долго я любовалась фонтаном, но наконец богиня через маленькую калитку вывела меня в ту часть сада, что не защищена от солнца, и оттуда я увидела, какого свойства деревья произрастают в саду, ибо их кроны прежде скрывала от меня благодатная тень. Все четырехугольное пространство занимали деревья разных пород; а их ветви так изгибались над подвязанными к стволам лозами, что все вместе являло подобие зубчатых стен, над которыми высятся башни с бойницами.

В одном углу я увидела старинные стволы Бавкиды и Филемона, в чьих вершинах будто бы различались сморщенные плоды пальм, в другом — высокую с вечнозеленой листвой все еще гордую Дафну, в третьем — дерево, вершиной достигшее неба, в чей ствол обратился юноша Кипарис; в четвертом — критскую ель, скорее приятную глазу, чем полезную шишками. Середину занимали апельсиновые деревья, отягощенные разом цветами, зелеными и золотыми плодами; между ними, с большими промежутками, виднелись деревья, в которые обратилась горестная Филлида, ожидавшая Демофонта, там и сям росли фиги, чьих плодов поджидал вороп, и приветливые каштаны с одетыми в твердую скорлупу плодами, любимыми Амарилис, а посредине поляны высился дуб, ростом, может быть, не ниже того, что святотатственно срубил безумный Эрисихтон, — прекраснейший из дубов, щедро дающий тень раскидистыми ветвями, покрытыми молодой листвой и завязями — веселым предвестьем обильного потомства. Но и почва под деревьями не пустовала: разные злаки, посеянные во вспаханные борозды, уже начали, наливаясь, желтеть. Из этой части сада я перешла в противоположную, тоже окаймленную деревьями. Там в одном из углов Помона показала мне обремененную плодами старую грушу, от чьего отпрыска произошел мой муж, в другом углу — бледную оливу, любезнейшую Палладе, ветвистую и многолиственную, сулящую богатый урожай. В третьем углу — расколаживающий орех, чьи плоды задают немало трудов; в четвертом — величественный вяз, увитый дружественным плющом и виноградными лозами, а между ними в изобилии сливы с колючими ветками, отрадные глазу белыми цветами и зеленой листвой. Там же виднелись густые заросли орешника, а ближе к обильным водой канавкам, питаемым от фонтана, я увидела несчастных сестер Фаэтопа, слезную Дриопу и плакучую иву. А если бы скорбный Идалаго и впрямь обратился в сосну, я сказала бы, что и его вижу посреди поляны, засеянной по порядку дремотным маком, легкой фасолью, слепой чечевицей и круглым горохом с уже высохшими стручками.

Третью часть сада окаймляли гранаты, среди которых я увидела сначала плакучее дерево превращенной Мирры, запятнавшей себя грешной любовью, потом корни, ствол и плоды дерева, в которое превратились вавилонские любовники, все в цветах и плодах. А на грядках под де-

ревьями сидели разлатые кочаны капусты, и буйный салат, и толстобокая свекла, и едкий огуречник, и тонкий латук, и много других овощей. В последней части сада росли ладанные деревья, в которые солнце обратило Левкотою, и кизил, не так давно внимавший пенью Орфея, и мирты, любезные нашей богине, и благородная вишня, и худородная рябина, и земляничное дерево с пышной листвой, и высокий бук, и бледный самшит, и другие деревья — всех не назвать; а на земле под ними расположились луковницы в сотне одежек и головастый порей, и дольчатый чеснок, а кроме того, длинные дыни, и желтые тыквы, и круглые арбузы, и пупырчатые огурцы, и лиловые баклажаны, и разное другое, что тешило взгляд. Даже то немное, что названо, я насилу упомянула после того, как не раз повидала, но не будь мои глаза правдивым свидетелем всех этих красот и дивного устройства сада, кто бы поверил мне на слово? Однако к чему многоречиво описывать каждую мелочь? Вашему воображению достанет и того, что я уже рассказала. Обойдя со мной сад и восхвалив свои труды, Помона спросила, по душе ли мне увиденное, и я ответила ей чистосердечно. Потом она усадила меня подло себя на мягкие травы и показала, какие части сада полезны различным деревьям и какие надо оберегать от Эвра, а какие от Борея или Австра и куда должно открывать беспрепятственный доступ Зефиру; глубоко ли вскапывать землю под молодые деревья, сажать ли растения с корнями или без корней да при какой луне, как потом за ними ухаживать, и зачем вяз сочетать с лозами, и в какое время их прививать. Объяснила и когда древесные почки под нежной корой усыновившего их дерева набираются сил. А после того открыла, как сделать, чтобы на сливах рождался миндаль, чтобы крепкие груши и всякие прочие деревья вскармливали чуждых питомцев; рассказала, как кривым пожом подрезать буйные отпрыски растений и как их подвязывать, в какое время орошать жаждущие влаги грядки и семена, какие травы выпалывать, а каким оставлять простор, как сады замыкать, и от кого охранять, и как управляться с драгоценным урожаем. Каждое ее слово было для меня драгоценно, и я прилежно внимала, стараясь все удержать в памяти. Потом вместе с Помоной я предалась новым трудам в благодатном саду, и если порой нас одолевала усталость или полдневный зной, мы присаживались отдохнуть на мягкой траве, слушая пение птиц, а то за

беседой не замечали, как проходило время, бесполезное для трудов. Иной раз Помона услаждала меня рассказами, говоря: «О юная дева, кою я ценю как самое себя, ты, конечно, видя молодой сад и мое гладкое лицо без морщин, думаешь, что я летами юна, но нет, я древняя годами богиня; мой прекрасный облик я похвальным образом сохранила благодаря трудам, однако мне хотелось бы поведать тебе о более чудных делах. Я рождена в первые века, и отрочество мое прошло среди первых людей, которые не знали во мне нужды, а почему, сейчас услышишь. Моя мать произвела меня на свет, когда царил золотой век и Сатурн правил людьми по законам правды, так что благоденствовал каждый населенный край. Земля тогда больше изобиловала богатствами, чем людьми, и сама без понуждения давала пропитание девственным народам, ибо ветвистые дубы родили тогда столько желудей, что одни могли прокормить голодных. В те времена живущие на земле радостно славил свяшенную рощу Додоны и за приносимую ею великую пользу. В ту пору охотники, добыв зверя, съедали его, кое-как сварив мясо или обжарив на костре, и сырые корни диких растений почитали благословенной пищей. Ни одна река не отказывала в сладчайших водах своих народам: Ганг, текущий среди любезных песков, откуда начинается путь солнце, отрадно утолял жажду прозрачными струями, и за то же был любезен жителям того края Инд, полезный своими водами. Нифат светлыми водами укрощал жажду обитателей Армении, блаженные Тигр и Евфрат услаждали персов, и египетский Нил семью рукавами орошал сухие земли и серебряными струями увлажнял пересохшее горло жаждущих. Кто усомнится в том, что и Танаис под холодным небом был тем же дорог его народам, если таковые там обретались. И в царства Даная и многих других, омытые Ахелоем, Алфеем, Инахом и Пенеем, еще не породившим упрямую деву, за той же надобностью стекалось немало людей. И Ксанф с Симоентом, в которых еще не отражались возведенные Нептуном стены, в ту пору были любезнее людям, поселившимся на их берегах, чем потом, когда они заливали ахейское пламя. И Рубикон, которому в будущем суждено было предоставить себя для дерзкого перехода Цезарю, и того же Цезаря ожидавшая Альбула, еще до того как получила от царя новое имя и приняла почести от всего покоренного мира, если и не были заселены людьми, то зверям давали напиться из своих волн.

И бурный Дунай, вздымавшийся от растопленных снегов, и Изар поили радостные народы, ныне ставшие врагами их вод, и так же поступал с лигурийцами Эридан.

Повсюду Фетида оказывала милости своими благодатными водами, не возбуждая пороков. А люди, чьим телам был не страшен суровый холод, покрывались мохнатыми шкурами львов и других зверей; они еще не ведали и не ценили пурпурной крови моллюска, красящей шерсть; не стригли овец и разводили их ради молока, а не ради шерсти. Высокие сосны давали овцам благодатную тень в зной и укрывали от бури, густые травы служили им ложем для сна, и каждая по примеру других зверей не иначе как ради потомства предавалась похотливым желаньям.

В те времена никто не нуждался в моих трудах, ибо люди ограничивались потребностями естества. Но Земля, уготовляя себе беды, низвергла Сатурна и призвала править Юпитера, чьи законы были менее строги, а век не столь счастлив. Церера, рожденная Юпитером, впрягла в свои колесницы драконов, дотоле не касавшихся вспаханной под желтеющий знак борозды, и на них объехала мир; после того девственную землю, обреченную терпеть все тяготы, распахал Сатурн гнутым плугом, она приняла в себя семя, а за труды с лихвой воздала колосющимся злаком. Но когда от Цереры явилось неведомое до той поры изобилие, люди перестали быть неприхотливыми в пище. А за Церерой пришел Вакх, родившийся от испепеленной Семелы, бог, особо чтимый фиванцами; в свои юные годы он обошел разные края и осыпал дарами Наксос и Хиос, Нису и Элею, горы Фалерн и Везувий и другие места; и обычаи его распространились до самой Индии. Мир, уже наполненный людьми, он научил на разный лад пользоваться его дарами, придал ароматы и крепость различных пряностей своим напиткам, и всюду, где мог, постарался лишить силы и без того уж немощную Фетиду. Люди изобрели тысячу способов новыми яствами угождать ненасытному чреву: превращенные в дельфинов спутники Акета, и Дирцея, дочь надменного Нина, и неразумная Наида с робкими юношами наполнили собою водные глубины. Лен, выросший в полях и уготовивший силки птицам, ломаный в горах камень, обожженная глина с обработанными смолами дали кров, заменивший древесную сень. Минерва, прежде не слишком опекавшая людей, довольных тем, что имели, обучила их топкостям

своего ремесла, показала, как собранную шерсть спрядать в тонкую нить, как из нитей делать ткани, более пригодные для одежд, чем дикие шкуры. Познакомила с травами, пестреющими в полях, и научила окрашивать ими шерсть в разные цвета; меж людей нашлись такие, что жадными руками украли тех червячков, которые выпрадают более драгоценную нить. До той поры Купидон, еще не умея летать на слабых крылах, кормился материнской грудью; но вот он подрос, окреп и полетел, куда вздумается по всему миру грозя и раяя своими стрелами. Потом явился Сарданапал, показавший, как украшать покои, Гай Пенсильий устроил бани; и еще много изобрели люди такого, что проторило путь спесивым гигантам, и сотворившему зло Ликаону, и всем другим, отчего случилось так, что земля, прежде не знавшая вкуса человеческой крови, папиталась ею после Флегрейской битвы. От всех этих дел, от бога, которого люди стали чтить себе на беду, родились потопы и разные превращения людей, и зло укрепилось в людских помыслах; в этот-то разнуданный век и явилась нужда во мне, вот отчего я радею о моих садах, как ты могла видеть».

Всем этим речам я внимала с должной верой и своими ответами подтверждала их правдивость. Но после того, как за такими или подобными рассуждениями усталость проходила, мы со свежими силами снова брались за труды, так чтобы ни один миг необратимого времени не прошел впустую. Вместе с Помоной или одна я обходила сад, открывая воду, подрезая разросшиеся ветки, закрепляя отвязавшиеся, и вот однажды, после того как я срезала кривым ножом лишние миртовые ветки и сплела из них венок, мне внезапно, как некогда Помоне Вертумп в чужом обличье, предстала в собственном обличье та богиня, о которой мы сегодня ведем разговор; она явилась во всем блеске своей божественности и мне, изумленной, рекла голосом, не похожим на голос смертных: «О дева, неужто ты, чья замечательная красота достойна наших царств, доживешь до холодной старости, не изведав нашего пламени?»

От таких непривычных речей я оробела и, опасаясь худшего, задрожала, как гибкий камыш под порывом ветра, нож выпал у меня из рук, и сама я едва устояла на ногах. Но как ни велик был испуг, я пала на колени между вспаханными бороздами и сказала: «Да будет надо мной твоя воля».

Тогда она с радостным ликом подступила ко мне; я было подумала, что она меня поцелует; но она только вдохнула мне что-то неведомое в уста; и тотчас я почувствовала, как изнутри вся занялась и запылала огнем, подобно соломе на полях Гаргана, когда крестьянин подносит к ней зажженный факел.

А когда святая богиня скрылась, меня объял еще больший страх, однако тут подросла моя Помона и, ободрив меня, пожелала, чтобы это пламя исторгла наружу красота какого-нибудь юноши; впрочем по неопытности в этих делах я не поняла, о чем она говорит. Но вот однажды, когда мы вместе обходили сад, мне предстал юноша замечательной красоты, чей подбородок был гладко выбрит искусной рукой. Его волосы, золотясь, в дивном порядке ниспадали ему на плечи, а разноцветные одежды сияли золотом и драгоценными камнями; в таком убранстве подобный женщине, осоловевший от излишней пищи, разнузданный, несвязно бормоча что-то и сквернословия, он растянулся на траве в прохладной тени. Он мне понравился, но паружностью своей, а не повадками, от которых я решила его отучить; однако мне это удалось не скоро, так что не раз я прокляла себя за столь скверный выбор. Когда бы я могла подавить жгучее влечение, я бы так и сделала, но пламя уже пылало во мне так сильно, что только разгоралось от ветерка, который хотел его погасить. Тогда я, побежденная любовью, решила упорствовать в начатом деле; иной раз мне удавалось то томным взором, то иными способами зажечь его тем же желанием, какое сжигало меня, по до меня ему не было дела, и он с усердием предавался одним своим непотребствам.

Как я его ни преследовала, это было все едино, что пытаться сдвинуть скалу, и, наконец, я совсем отчаялась; но вот однажды, когда солнце стояло так же высоко, как сейчас, я нашла его в том священном храме, где мы недавно были, и решила прямо ему открыться, чтобы услышать, каков окончательный его ответ, ибо я твердо вознамерилась силой подавить в себе желанья, если он не захочет к ним склониться. Но для начала я придумала обратиться к нему с другими словами, чтобы язык мой не заплетался, когда я дойду до тех речей, к которым робела приступить; я позвала юношу, усадила его подле себя и сказала:

«Юноша, твой возраст, убранство и вид внушили мне желание узнать, кто ты, откуда и каково твое имя, соблаговоли же правдивым ответом утолить мое любопытство».

Он взглянул на меня и ответил:

«Нимфа, твои слова немало меня дивят, пеужто ты ничего не слыхала обо мне на Кипре, где мы оба живем и где все меня знают; но если тебе это неведомо, я отвечу ради твоей красоты. Знай же, что имя мое Дионей, и приготовься услышать обо мне такое, чего ты прежде не слыхивала: я, сын двух богов, рожден ими смертным, и оттого скорблю; если бы я мог на них, как на смертных, выместить свою досаду, я бы пе преминул это сделать».

Он хотел продолжать речь, но я его перебила, спросив кто же эти боги, на что он ответил:

«Кто они и как меня породили, ты сейчас услышишь. Отец мой Вакх, во всем мире славный за одержанные в Индии победы; когда однажды в Фивах, где ему поклоняются с особой страстью, праздновались его торжества, он явился в своем храме под звук литавр, хриплых рожков и звенящих кимвалов и увенчал себе, как положепо, лоб рогами; тут, влекомая драконами, подоспела Церера со своими богатствами и умножила пышность священного празднества. Она была прекрасна собой, а искусством еще больше усилила свою красоту, а значит, и праздничное веселье. Шествуя в окружении свиты, она приглянулась моему отцу, и он с жгучим желаньем стал вожделеть ее объятий. А после того как в шумных играх и прочих забавах раскрылись души как смертных, так и богини, Вакх, видя, что благоприятный миг настал, благосклонно обнял несопротивлявшуюся богиню и увлек ее за собой туда, где, надо думать, вкусил желанной отрады; от них родился я, все блага унаследовав от родителей, кроме того, о котором уже сказал».

Он замолчал, и я продолжила:

«Юпоша, твоя красота заслуживает бессмертия, и если ты будешь угождать моим желаньям, я сделаю тебя таким же бессмертным, как и твои родители. Не удивляйся этим словам, ибо моя власть простирается дальше, чем сулит язык. Ты давно мне по сердцу, и если ты проницателен не меньше других, то, должно быть, сам это заметил: итак, если желаешь снискать обещанный дар, угождай моим желаньям. Тебе это, конечно, не будет в тягость, напротив, ты сочтешь это за особую милость, ибо к Елене в Спарте не сваталось столько знатных людей, и к Ата-

ланте, проворной в беге, и к другим столь же знаменитым женщинам, сколько ко мне, а я из тысячи юношей одного тебя выбрала единственным господином моей души».

Выслушав мою речь, он перестал чваниться и смиренно сказал:

«Я к твоим услугам, готовый исполнить все, что прикажешь; твой любезный взор проник в мое сердце и навеки связал меня с твоими желаньями».

Такие слова мне пришлось по сердцу; со временем я показала ему, как лоза, и вязы, и всякое другое дерево после цветения, заботясь лишь о плодах, довольствуются одной листвою и как прекрасна Дафна, всегда в зеленом убранстве, после чего он уподобился им одеждой, избавившись от ненужных украшений. А когда узнал от меня про то, что растения порой отвергают влагу и, дабы не оказались затопленными их корни, в меру просят воды, отрекся от излишней сонливости и предпочел ей здоровое бодрствование; тогда, чтобы возбудить в нем еще большее усердие, я повела его за собой в сады. И, как я желала, приучив его к трезвости и порядку, теперь живу в совершенном довольстве; поэтому никто не должен дивиться тому, что я чту дарами богиню, которая радела об исполнении моих замыслов, и ревностно посещаю ее храмы».

И пимфа умолкла. А через промежуток, меньший, чем от того мига, когда занимается заря, до того, когда вершины гор окрашивают первые лучи Аполлона, за речью последовала песнь. Передохнув, она начала так:

XXVII

Помона, и светла, и плодовица,
бежит от ледяных Пелигнских вод,
и щит от непогоды ей защита;

и, если надо, прыть она уймет
рогов бесцеремонного Лизя,
когда он слишком яро их пригнет.

Ей то по праву, что жена Пелея
для утоленья жажды нам дарит
и что мы пьем, нимало не пьянея.

Едва Фетида свой являет вид —
и колесницу Вакхову пантера
униженно с пути ее влачит;

и — негу убедительней примера! —
влекомая упряжкой быстрых змей,
свернет с ее дороги и Церера.

И даже та не прекословит ей,
что, в свет явившись из отцовской болн,
в быке нашла покой своих страстей.

И нить прядет Минерва поневоле
не для житейских низменных потреб,
а как ее благоугодно воле.

И ей и непонятен, и нелеп,
и странен образ жизни Палемона —
пример ничтожных и пустых судеб.

Она — податель всякого закона
и людям удлинит, коль надо, шаг,
иль сократит, коль спешка нерезонна.

И ярости она всегдашний враг
и мудрецу в поступках полагает
и главное предвидеть, и пустяк.

И верными ей не пренебрегает,
и помощь предлагает им сама,
а прочим — с меньшим жаром помогает;

сокровища, обширные весьма,
она раздаст, когда того захочет,
и, щедро отворяя закрома,

в садах своих заботливо хлопочет,
лелея их не для одной себя;
и всякого к благому делу прочит,

всевышнего Юпитера любя.

Покуда юная нимфа, ведя долгую речь, воскрешала в памяти прошлое, Амето украдкой созерцал обнаженные прелести дев. На одну взглянет — и возомнит, будто нет ей равных, на другую переведет глаза — вмиг эту восславит, а ту осудит; на третью засмотрится — тотчас решит, что обе первые уступают ей красотой. И так про каждую; а созерцая их вместе, ни у одной не находил ничего, что умаляло бы ее прелесть, и чем дальше, тем больше затруднялся сказать, кто же из них красивее. А между тем, пока он любовался ими, томимый жгучим желаньем, ему являлись разные образы. То он воображал себя в объятьях одной, то сам мысленно обвивал нежную шею другой, то будто впивался в уста третьей, ощущая сладостную слюну; и, приоткрыв рот, хватал им, увы, пустой воздух. То, объятый трепетом, дерзостно замышлял хотя бы одной поведать свои желанья. И хоть не решался их высказать, не зная, с какого конца приступить, все же, вообразив, будто тут же на зеленой траве ему удалось речами склонить к себе одну из прекрасных нимф, от веселья разгорячился так, что покрылся потом; покрасневшись ярче обычного, он лицом выдавал, какое его томит беспокойство, а лукавым взглядом — в какой миг ощущает блаженство. Что ни говорила нимфа, он все пропускал мимо ушей, ибо мысленно всеми силами влекся к нежным рукам и белоснежной груди, позабыв обо всем на свете. Но пока верным воображением он блуждал между сокрытых прелестей нимф, чего ни одна из них не замечала, внимая подруге, пение смолкло, и одна из прекрасных вернула его к яви, прося передать другой бремя повествованья. Придя в себя от ее голоса, Амето вздрогнул, подобно Ахиллу, когда тот пробудился, перенесенный матерью в новые края; чуть смутившись, огляделся и повелел пачинать нимфе в белом. Едва на нее пал выбор, не мешкая, она приступила:

XXIX

— В Сицилии, соседствующей с Эоловой Липарой — известной всем кузницей Циклопов, близ того места, где, до поры сокрытые матерью, явились на свет Палики, находится местность, откуда произошел мой отец. Однажды,

побывав в городе, омываемом Сарно, и посетив в нем храмы, где больше поклоняются обманам Меркурия, чем покровительнице Венере, на обратном пути он случайно оказался у подножия плодородной горы Гарган, посвященной Церере, святейшей богине; там он увидел девушку, чьи родичи по некой причине сделались врагами Сатурнии и, гонимые, укрылись в пещерах горы, не дерзая выйти под открытое небо. В алых одеждах, затканых белыми лилиями, девушка приглянулась отцу; и он тогда только оставил тучные нивы, когда, сочетавшись с ней брачными узами, получил право увезти ее с собой в Сицилию. Там он породил меня и моих сестер, всего по числу дочерей Пиэра; и все мы так удались красотой, что, любуясь нами, он чуть не навлек на себя гнев Латоны, хотя провинность его была куда меньше той, за которую лишилась детей фиванская Ниобея. Но не во грех будь сказано — от вас, как от самой себя, мне не надо таить правды,— я превосходила красотой каждую из сестер, и меня, любимую дочь, отец нарек Акримонией; отроческие годы я провела не праздну, но и не все время корпела за прялкой: меня обучали разным наукам, и труды мои увенчались успехом.

А когда с годами вырос мой разум, я узнала, что отец мой попал в беду, подвергшись злобным гонениям неблагодарной черни; наслышанная о том, что в прошлом от того же пострадало немало людей, я испугалась. И чтобы отвести от отца опасность, а на случай нужды укрепить его дух, я в смиренных мольбах испросила у богини Беллоны, матери могучего Марса, заступничества для дорогого отца, которого я любила и люблю не меньше, чем он меня, а я знаю, что всегда была любимейшей из его дочерей. Богиня столь милосердно и благосклонно вняла моим просьбам, что я дала обет служить ей; с тех пор воздаю ей особые почести, к ней простираю мольбы и ее заступничества ищу в нужде.

Шестнадцать раз я видела созревшие нивы и столько же раз отведала сладкого молодого вина, когда мой отец выдал меня замуж за юношу, который собой был незавиден и наружностью мне не пара; как и я, сицилиец родом, он увез меня в чужие края, разлучив с милой матерью и добрыми сестрами. Вслед за ним я взошла на корабль и под парусом, туго надутым Эвром, покинула Тирренские берега; мишовав алчных псов, терзающих Сциллу, мы прошли мимо древнего холма, который Эней насыпал над

остатками Палинура, потом мимо мыса Мипервы; оставили по левую руку Каприйский остров и плодородные склоны Сорренто, за ними Стабийские скалы и гордую былым величьем Помпею и, наконец, Везувий, подражающий огненной Этне. Минуя Партенопейские берега, бросили взгляд на Поццуоли, древние Кумы и теплые воды Байи; по правую руку оставили холм над прахом Эолида Мизена, а по левую Питтакузские острова, увидели устье яростного Волтурна, вливающего в море мутные от песка воды, и те места, где обрела вечный покой мамка Энея. Со страхом прошли мы вдоль берегов, не разведанных спутниками Улисса, проплыли Алфейскую гавань, и степы, по преданию, возведенные Янусом, и те, что не взял божественный Цезарь, отойдя быстрым маршем к Илерде. И, наконец, после долгих скитаний в волнах мы завершили нелегкий путь в приветливых гаванях Тибра, у священной Палатинской твердыни; там латинские нимфы приняли меня в свое общество, правда, не без великой зависти, ибо, на взгляд всякого, кто меня видел, я всех превзошла красотой и тем стяжала величайшую славу. Вскоре во всем Лациуме меня называли красавицей-лигурийкой, и в недолгое время молва обо мне разнеслась вдоль всего побережья. В том городе держал свой престол первосвященник наших богов — со всех концов света стекались к нему знатные люди, и не было на земле уголка, откуда не прибывали бы к нему именитые посланники; для всех них я стала как бы второй приманкой, а для некоторых первой. Каждый, кто хоть раз увидел меня, в восторге медлил уезжать от лицемерия моей красоты и расточал мне хвалы, без надежды уязвленный неизвестными мне любовными стрелами; но я под их взглядами оставалась равнодушна, как мраморное изваяние; и, не предвидя себе опасности, дорожила ими не больше, чем Анаксарета, еще не превращенная в камень томящимся по ней Ифисом, а, правду сказать, в душе над ними смеялась. Как часто милые подруги, упрекая меня, говорили:

«О Акримопия, ты тверже скалы, неподатливее идейских дубов; что за упорство мешает тебе, твердокаменной, хоть однажды поддаться любви? Думаешь, она минует тебя оттого, что ты превзошла красотой всех нимф обоим берегам быстрого Тибра? Как бы не так. Твоя красота больше всякой иной влечется к тому, чего ты бежишь; и правда пристало бежать того, в чем ему

отказала судьба. А ты всем одарена вдоволь, только любовью обделена. Так прими же добрый совет, не отвергай благ, не то прогневишь божественную Венеру: ведь она тем нестерпимее жжет грудь, чем упорней сопротивление. Зачем бросать вызов богам? Разве сам Юпитер не был объят ее пламенем? И светозарного всеведущего Аполлона целебные травы разве спасли от любовного жара? Да что говорить, сама богиня, дарительница любви, воспламенялась своим огнем; попросту говоря, весь сонм небожителей познал жар любви, от которого нет спасенья смертным. Геракл, совладавший с тяготами земных трудов, не раз был влюблен; Медея дочь Солнца, могучими заклинаньями не могла избавить себя от любви, да и никто другой не мог. Одна ты против стольких обладателей красоты и божественной власти вздумала жить на свой лад; ты не Паллада и не Диана, им одним, по причинам, о коих не нам рассуждать, пристало избегать любви. Так полюби же, о Акримония, пока есть время, ты хороша собой, ты молода, ты знатна, не упускай сроков любви. Помни, как текущие реки уносят воды к морю и никогда не возвращаются вспять, так часы уносят с собою дни, дни — годы, а годы — молодость, за которой нас ждет два равно жалких конца: либо смерть, либо дряхлая старость; какой бы из них ни выпал тебе на долю, ты восскорбишь о том, что не познала любви. Положим, ты доживешь до старости, но какова ты будешь? Неужто кто-нибудь тобой прельстится, когда гладкие щеки увянут, сияющий румянец поблекнет, а годы выбелят золотистые волосы. Да вздумай ты тогда ими прельщать, тебя отвергнут, и поделом. Какой поре любовь пристала больше, чем юной; все в мире идет чем дальше, тем хуже; золотой век Сатурна миновал безвозвратно; серебряный век Юпитера был все же лучше, чем застухивший медный; но и тот, каким дурным ни прослыл, не был, однако, так низок, как наш глиняный, пришедший вслед за железным.

Употреби же необратимо текущее время так, чтобы в старости не корить себя за молодость, прожитую зря; и, прежде чем не раз оплакать утраченные годы, посвяти их желанной любви. И не мешкай, не то придет пора, когда для любви не останется места и будет поздно наверстывать то, чего нельзя наверстать. Все заметили, как пламенно взирал на тебя сын Юпитера, венчанный правитель богатых металлами богемских земель, достойный любви всякой богини. Но, положим, его не красят

преклонные лета; так ведь и правитель галлов, носящих тогу, увидев тебя, восславил твою красоту, и, не будь ты к нему столь жестока, он с радостным ликом открыл бы тебе свое сердце; чем он тебе не пара, тем разве, что слишком знатен. А тот владыка богатых народов Минервы, населяющих Кимврию, сколько красноречивых похвал расточал он твоей красоте; сколько раз искал твоих взглядов, диких, как у лесного зверя; пожелай ты, он стал бы тебе достойным возлюбленным. Но что попусту утруждать себя, перечисляя их всех одного за другим, когда ты лучше нас знаешь, сколько и каких людей добивалось твоей любви и кто был ее достоин. Да кроме того, на это не хватило бы и целого дня.

Чтоб никого не упустить, скажем попросту, что сколько со всего света сюда наезжает людей, столько ты покорила, и все разными ухищрениями пытались тебя зажечь, но всем им было суждено увести домой славу о твоей неприступности, равной твоей красоте. Даже жрецы, хранители священного алтаря величайшего и всеблагого Юпитера Капитолийского, отличенные красной шапкой, бессильные отвести целомудренный взор от твоих прелестей, восхваляли тебя и домогались взаимности. Смягчи же суровость, выбери себе одного из тех, кто заклинал тебя Марсом, Палладой, Юноной и древней Кибелой, не то Купидон в праведном гневе уязвит тебя, как Феба, стрелой, воспламеняющей любовью к тому, кто не достоин твоей красоты».

Но эти справедливые речи отскакивали от меня, как сухой горох от твердого мрамора, как ни жадно я им внимала; все увещеванья были на ветер и не вызывали у меня ничего, кроме насмешки; в душе я тщеславилась своим упорством, по-прежнему безучастная к любым мольбам. Но святейшая Венера, сокрытая от моих глаз, не осталась глуха к речам подруг и, узнав о моей непочтительности, в гневе уготовила кару; не желая сносить поругания своей божественной власти, которой я еще не познала, она зажгла меня своим пламенем, как я вам сейчас о том расскажу.

Муж мой увез меня с берегов Тибра, и мы тем же путем вернулись в Сицилию; и вот однажды, в торжественный день, я отправилась в храм той самой богини, о которой мы здесь говорим и чьей власти я дотоле не знала; в храме устроен был дивный праздник, и я, придя туда в нарядном убранстве, расположилась среди прочих

сицилийских нимф; украдкой оглядевшись, я заметила, что ни одна из них не может тягаться со мной красотой, а то, что произошло затем, подтвердило мою правоту. Едва я подняла лицо, как толпы прекрасных юношей повернулись ко мне и стали мной любоваться. О, сколько дев прокляли миг моего прихода, в душе несправедливо обвиняя меня в том, что я присвоила себе их возлюбленных! Речи одних юношей достигали моего слуха, речи других я угадывала по движениям и взглядам; и все в один голос, пораженные, твердили мне похвалы. Меня это немало обрадовало, и я постаралась горделивой осанкой придать своему облику еще большую привлекательность, ибо искусство усиливает красоту и тех, кто хорош собой от природы. Глаза мои были потуплены, но, вскидывая их, я видела, как у всех тут же меняется выражение лица; и вскоре взгляды входящих в храм не так усердно обращались к алтарю, как взгляды юношей и дам — к моему лицу.

Среди прочих самые пылкие взгляды бросал на меня некий юноша, приятный собой, хотя видом пастух, грубый сердцем, по имени Апатен (впоследствии из расспросов я узнала, что он в теснейшем родстве с прекрасной нимфой, моей спутницей, чью повесть вы сейчас слышали). Весь тот день он не отходил от меня ни на шаг и, с кем бы и куда бы я ни пошла, всюду следовал за мной по пятам. Не страшась сумрака ночи, он перед домом пел мне хвалы приятным голосом на разные лады и не однажды разгонял объявший меня сладкий сон; всеми способами он старался выказать мне, как я ему нравлюсь, и, в свою очередь, старался понравиться мне. Но все его усилия были напрасны, ибо я оставалась верна своему обычаю и по-прежнему служила Беллоне, не зная Венеры; терзанья его задевали меня не больше, чем легкие дуновенья Эола — скалистые вершины Эматийского кряжа; я упрекала его в ничтожестве и корыстолюбии и много раз твердила, что ему больше пристало пахать землю, чем домогаться моей любви. Потом я узнала, что он прежде ни разу не испытал любовного пламени, и теперь оно так жгло его, что он лишился покоя; видя мое упорство, от жалости к себе, он однажды, когда мы вместе находились в том храме, смиренно пред алтарем вознес Венере такие мольбы:

«О святейшая богиня, мать пылкой любви, сколько дано нам узнать блага, все оно имеет началом тебя; если

я, невежественный юноша, новичок в деле любви, достоин тебе служить, преклони сострадательный слух к моим молитвам, окажи мне заступничество, а если я недостойн того, чего добиваюсь, сбрось меня без промедленья с твоих алтарей. Акримолия, прекраснейшая во всей Сицилии нимфа, отрадой своих глаз зажгла во мне твой священный огонь; но, зная, как я горю, она презрела не только мои мученья, но, надменная, и твою власть. Скорбя о своих невзгодах и радуя о твоём величии, я молю тебя, если стрелы твои наделены той силой, что укрощала богов и смертных, пронзи ее; пусть она воспыхает ко мне тем пламенем, каким я пылаю: отомсти разом за твою и мою обиду, ради новообращенного стоит свершить столь благое дело. О всевышняя богиня, я прошу для себя, не для другого, но если я недостойн, пусть другому будет дано презреть ее пламень и тем отомстить за меня, чей пламень она презрела».

Мольбы его тронули небо; в знак этого дрогнули алтари и гулом отозвались своды, что я, насмеявшаяся над его словами, ясно увидела. Едва он умолк, как богиня, растроганная, не замедлила обратить слова в дела: свет, какого я отроду не видела, разлился над алтарем и укрыл меня целеной так, что я никого не различала кругом и только голоса, бормотавшие глухие угрозы, не смолкали вокруг меня, а я к ним прислушивалась, как боязливая овечка под замком в овчарне прислушивается к рычанью волков или как робкий заяц, притаившись в кустах, слушает залиvistый лай собак, не смея шевельнуться. Но вскоре, согрев меня своими лучами, богиня отверзла уста, и певучий голос изрек:

«О дева, долго бежавшая наших стрел, недостойная наших милостей, твоя красота укрощает мой гнев и надменности твоей испрашивает милосердного списхождеья; забудем же о твоей вине, хоть она и требует кары, не меньшей, чем та, что поразила несчастную Анаксарету; мы желаем, чтобы сердце твое раскрылось навстречу нам и чтобы ты с любовью навеки приняла в него молящего юношу, готового отрешиться от своего невежества».

Слова эти, поначалу приободлив меня, под конец ужаснули; душа моя, трепеща, уподобилась несчастному Фаэтону, когда перед ним возникло грозное чудище, высланное с земли сразиться с Орионом, отчего, выпустив поводья, он пустил наудачу вольных коней. Но, увидев, что кара медлит, чуть осмелев, я взмолилась:

«О богиня, не гневайся на меня, верни меня родителям невредимой, ибо, кляпуть тебе издавна чтимой Беллоной, я закаялась противиться твоей воле».

Так я сказала и только успела смолкнуть, как, подобно несчастной Дриопе, вдруг ощутившей, как ее тело охватывается тонкой древесной корой, почувствовала, как мое тело от макушки до пят охватывают лижущие языки пламени; содрогнувшись, я ждала уже, что сейчас обращусь в пепел, подобно фиванской Семеле, узревшей Юпитера в божественном блеске, по тут пламя, оставив тело, проникло в душу, и, утешенная богиней, я почувствовала себя вне опасности. Сиянье померкло, я снова очнулась среди подруг, по уже влюбленная, и моим жадно ищущим глазам явился желанный юноша, чьи мольбы призвали ко мне любовное пламя. Он мне тотчас поправился, и я полюбила слышать звук его шагов за собой всюду, куда бы я ни шла; от прежней дикости не осталось следа в моей груди и глазах, готовых любить его больше всего на свете. А очень скоро Апатен, пожелай он, мог бы сам отвергнуть меня, как раньше я его отвергала. Ничто не тешило моих глаз больше, чем он, и радовать его стало для меня первойшей заботой; невежества, которое я так порицала, вскоре не осталось в нем и помину. Из грубого пастуха он стал просвещенным юношей, из корыстного великодушным, и в предприятиях отважным, из ничтожного щедрым и любезным всем людям, так что его, и без того благородного, в скором времени можно было почесть благороднейшим. Затратив немало трудов, я возвысила его до моей красоты и теперь дорожу им превыше всего. Вот таким образом меня, долго остававшуюся холодной, благодаря Апатену, преобразила богиня, которая так возрадовала и радуется мою душу, что я воскурю ей фимиам и вечно буду чтить наравне с Беллоной.

И вслед за тем нимфа запела такие стихи:

XXX

От Нота, чье горячее дыханье
на нас дожди, и грязь, и тучи шлет,
и от Борея злого, чье метанье

заковывает в лед поверхность вод,
от Эвра заревого иль другого,
кто мягким иль неистовым слывет,

от Ахелоя, божества речного,
безумного не мене, чем Орест,
любивший Пирифоя, как родного,

от всяких бурь, какие в мир окрест
шлет Посейдон, от Бахусовой страсти,
которую столь восхвалял Ацест,

и от огня, который в злобной пасти
Тифей рождает, и от труса тож,
когда подземный пленник жаждет власти

и, корчась, повергает горы в дрожь —
ото всего нас оградит Беллона,
едва к ней под начало попадешь.

Она пойдет войной и на Плутона,
столь жаждущего человеческих душ,
как жаждал восхитительного лона

он Персефоны, рабный к тому ж
Амуром, заглянувшим ненароком
на дно Сицилии, где тьма и глушь.

И как Беллона неусынным оком
достойных охраняла в оны дни,
так служит им до днесь с великим проком.

И все, кто ей привержены, — они
в своем великодушье безупречны,
и щедрость их деяниям сродни;

и столь спокойны и добросердечны,
что — отвернись Фортуна — все равно
не унывают, но и не беспечны.

И как притом грустить им не дано,
так ложным благом не возвеселятся —
и то, и это равно им смешно;

и красотой пустою не прельстятся,
чрезмерно не заботясь о мирском,
сильны во всем, за что решили взяться.

И, утвердив нас на пути прямом,
дарит Беллона неба постижение,
и светлолика, и ясна умом;

и в небеса, коль мы свое сражение
с пороками не устаем вести,
дабы наш дух избегнул пораженья,

уводит нас бессмертье обрести.

XXXI

Едва нимфа приступила к рассказу, Амето вернулся к прерванным размышлениям, хотя и умерил, насколько мог, пыл желаний. Отогнал прочь суетные надежды, которым не дано было воплотиться, и обратил сладостные помыслы к действительности. И так про себя рассудил:

«О всеблагие боги, что с того, что эти прекрасные дамы любят не меня, а других, зато я с ними здесь, куда желали бы попасть многие достойнейшие меня; мне дарована особая милость — услаждать взор их красотой. О, сколько бы сыскалось таких, кто о лучшем и не мечтает: разве мало владеть тем, чем я в неведении здесь владею? Кого же, как не возлюбленную Лию, я возблагодарю за эту великую милость? Сам троянский Парис не мог бы похвастаться тем, что созерцал бóльшую красоту. О боги, будьте свидетелями; как ни трудно поверить в то, что я утверждаю, это сущая правда. Он и в глубине темной Идейской долины видел трех богинь, а я здесь, в ясном свете дня, вижу семерых, из которых ни одна красотой не уступит богине. Поистине одно преимущество у него было: он узрел их нагими, так что ни одна прелесть не осталась сокрытой. Но как же царскому сыну не иметь хоть одного преимущества перед простым охотником? Да и какой мне прок от их наготы? Она только разожгла бы во мне и без того жестокий огонь, ведь я и при виде их лиц томлюсь душой и насилию обуздываю недозволенное вожделение. О, какое это должно быть зрелище, как бы я им упился, будь мне это дозволено! Но, увы, мне нельзя видеть больше, чем всем другим; впрочем, нимфы не виноваты, это одежды в словоре против меня, а сами красавицы охотно являют взорам все, что не скрыто одеждой. И все же насколько

судьба милостивей ко мне, чем к несчастному Актеону: того покарала Диана, чтобы не разболтал о том, что подсмотрел, а мне никем не возбраняется в любое время поведать милым друзьям об изведенном благе.

Но, увы, рано радоваться. Я не счастливее Актеона, разве что меня не растерзают собаки: ведь если я о том расскажу, кто мне поверит? Кто заочно может поверить в то, чему я воочию едва смею верить? Впрочем, это не мое дело, главное, что я-то их вижу и, рассказав, не солгу; значит, моя радость не омрачится: про себя я буду знать, что особой милостью допущен лицезреть то, чего не видел никто из смертных. А раз так, то пускай, кто хочет, верит, а кто не хочет, не верит, мне нет до того дела».

В таких раздумьях он то посматривал на прекрасных нимф, то прислушивался к рассказу, а потом, снова погружаясь в сомнения, говорил:

«Но захоти я поведать об их прелестях, где я найду слова? Ведь и божественным языком трудно выразить то, что я вижу. О, благословен тот день, когда мне впервые предстала Лия! Это она, и только она, виновница того, что мне открылось столь прекрасное зрелище; более чем счастлив сей день: если бы я надеялся, что от моих просьб будет толк, я молил бы, чтобы он длился вечно. О, как блаженны, тысячу раз блаженны те, кого они любят и о ком вспоминают, исповедуясь в своей любви нежными голосами!»

Потом, взглянув на небо сквозь осеняющие нимф ветви деревьев, он примечал, где находится солнце, по теням, коротким или удлинившимся, определял, близко ли время, когда спадет зной, и, горюя, что солнце слишком быстро гонит блистающую колесницу, про себя молил:

«О преславный Аполлон, твои жаркие лучи одарили меня великим блаженством, так умерь же свой бег, не гони вперед, не отнимай того, что сам даровал. Задержи хоть на миг, взгляни сюда, на этих прекрасных: все они, как одна, заслуживают любви не меньше, чем Дафна, Климена, Левкоотя, Клития и любая другая из пленивших тебя. А если ты уже обжегся любовным пламенем и боишься на них, робких, взглянуть, пусть эти деревья прикроют их от тебя своей тенью; раз тебя не удержит их красота, пусть удержит тебя жалость ко мне. Вообрази, будто грех Тиеста снова совершен на той стороне Земли, и останься там, где ты есть, пошли долгую ночь тем, кто тебя не ведает и кто в тебе, говорят,

не знает нужды; даруй долгий срок пещным речам, растяни, насколько возможно, мою отраду».

Так он завершил мольбы, и почти в тот же миг нимфа окончила свою песнь. Оторвавшись от сладостных мыслей, он приятным голосом обратился к нимфе в пушковых одеждах, прося ее поведать о любви, в свой черед; смеясь, зарумянившись от смущенья, она откинула рассыпавшиеся от зноя пряди, частью скрепленные на темени, частью вьющиеся по белоснежным плечам, и, сохраняя пленительную осанку, ясным голосом пачала:

XXXII

— Сказать по правде, о нимфы, не будь я дочерью своих родителей, я сочла бы, что умалчивать о них честней, чем рассказывать, ибо одного из них можно назвать недостойным славы, а другую — достойной бесславия, если и не за нее самое, то за ее родных; не лучшая молва шла и об их предках, возросших в пороках и не стяжавших любви из-за того, что один из них когтил бедных, а другой льстивым языком высасывал из них кровь. Непричастная плутням родителей, я все равно известна всем как их дочь, поэтому, не боясь исповедью увеличить свою известность, я начну с того, с чего и вы начали. В Ахайе, прекраснейшей части Греции, есть гора, у подножия которой течет небольшая речушка: скудея летней порой, она разливается в дождливое время года; по берегам ее с давних пор живут сельские сатиры и нимфы тех мест. Среди них, простых правами, и появились на свет те, от кого впоследствии произошел мой отец; подобно Амфиону, звуком кифары воздвигшему из твердых камней Фиванские стены, они своими руками из камней воздвигли немало высоких стен. Но хотя Фортуна, вслепую оделяя мирскими благами, приумножила их состояние вопреки достоинствам, они вскоре забросили скромное, но верное ремесло и всецело отдались плутням Меркурия: видит бог, им больше пристали орудия Сатурнова ремесла. Слава об их роскоши разнеслась далеко по свету, столь же внезапная, сколь и брменная; из черни они сделались знатью, возомнили о себе и нажитыми богатствами, подобно гигантам, пизвергнутым на Флегрейских полях, вздумали дерзко тягаться с небом, но боги до времени затаили возмездие, в праведном гневe уготованное им за грехи, и скрыли

его от глаз, которым суждено было вскоре навеки сомкнуться. Увы, стоит ли длить рассказ о собственных бедах! Отец мой по старинному мосту перешел через скудные воды и достиг мест, где жила моя мать; родители ее, нарушив меру, указанную Амагунтой, умели металлом добывать металл и, купаясь в золоте, носили на алом поясе посеребренное изображение двурогой Феbei. На их-то деньги, которых было без счету, и позарился мой отец и, не погнушавшись презренным ремеслом родителей, ввел их дочь супругой к себе в дом; там у них родилась я и выросла среди неусыпных забот; отрочество мое было простодушным — никто не досаждал мне науками, и я не ведала никаких богов. Но годы прибавлялись, а с ними и моя красота, и я всей душой возжелала мужа, надеясь, что боги предназначили меня достойному юноше, видом и возрастом подобному мне; однако люди рядят одно, а боги судят другое. Моя красота, которую я так усердно холила, досталась в обладание старику, хоть и очень богатому; но как ни горевала я, вслух роптать не посмела. Весь век он знаясь с людьми вроде тех, про кого я рассказала, и, прожив лет больше, чем волос на темени, совсем одряхлел. Его седая и плешивая голова тому верное подтверждение, а щеки его, дряблые и увядшие, лоб в морщинах, борода, взерошенная и колючая, как иглы дикобраза, больше в том убеждают. Еще хуже того глаза под косматыми бровями — ввалившиеся, с красными веками, вечно слезящиеся. И губы не лучше — бледные, бескровные, нижняя отвисла, как у длинноухого осла, и за ней видны съеденные кривые зубы, пожелтевшие, верней сказать ржавые, и гнилые, да и тех в щербатом рту не хватает. И шея у него такая тощая, что все жилы и кости наружу, а на кадыке, от трясушейся головы, мотается дряблая кожа. И всему этому как назло подстать хилые руки, чахлая грудь, заскорузлые ладони, щедедушное тело. Скрюченный, он ковыляет, вечно уставясь в землю, которая, должно быть, не чаает поскорее его принять, благо рассудка он давно уж лишился. Вот кому судил меня рок и кто радостно принял меня в своем доме; там я с ним и живу, и нередко в безмолвии ночи, которая, как бы ни отдалился Феб со своими лучами, никогда мне не кажется краткой, он на мягком ложе заключает меня в объятья и отвратительной тяжестью гнетет белоснежную шею. Потом, смердящим ртом облюнявив мне губы, трясушимися руками

ощупывает нежные округлости, и шарит по всему моему злосчастному телу, и хрипло нашептывает мне в ухо льстивые речи; холодный как лед, он мнит распалить меня своими ласками, когда сам подле меня распалится одним желанием, но не убогой плотью. О нимфы, посочувствуйте моему горю! Так промает меня чуть не до света, а под утро щитится возделывать сады Венеры, ветхим плугом пытаюсь взрыхлить почву, жаждущую благодатного семени,— напрасный труд; поведив негодным от старости лемехом — подобно плакучей иве, помахивающей заостренной вершиной,— сам убеждается, что им не вспахать целины. Обесилев, отдохнет и опять берется за дело, собравшись с духом, и так и эдак силится исполнить то, что ему не под силу; и всю ночь крутится и докучает мне постыдными ласками, не давая покоя. Его иссохшей голове хватает краткой дремоты, и вот, бессонный, он пускается в долгие рассужденья, а я против воли бодрствую вместе с ним. То возьмется рассказывать о временах своей юности и как его одного хватало на многих женщин, то начнет вспоминать любовные похождения и подвиги, а то еще доберется до небожителей и как только не поносит и не срамит их за измены, а заодно и всех смертных, кто хоть раз попрал священный обет супружества; и какие и сколько бед случалось от этого,— все расскажет и ни одной не пропустит. А то разразится целой речью, стоит мне только подумать, что он засыпает:

«О юная женщина, твое счастье, что милосердные боги судили тебя мне, а не какому-нибудь юнцу. У меня в доме тебе не досаждают свекровь, ты одна всему дому хозяйка и мне госпожа; тебе незачем бояться соперниц, я не скуплюсь для тебя на наряды и на все, что тебе по душе. Ты одна мне отрада и утешение в жизни, пет у меня другой радости, как покоить тебя в своих объятиях и чувствовать твои уста близ своих. Окажись ты в руках юнца, что бы тебе досталось? У молодых на уме не одна, а сто возлюбленных, кому же из них и перепадет меньше любви, как не той, что всегда под боком. У них жены часто одни дрожат по ночам в холодной постели, пока они как безумные гоняются за другими; а я при тебе безотлучно. Да и на что мне другая? Боже меня упаси на кого-нибудь тебя променять!».

Наслушаюсь я этих речей и, не взвидев белого света от смрадного его дыхания, велю ему замолчать и спать,—

по что толку! Стоит мне перелечь от него на другой бок, как он, изловчившись, обхватит меня дряхлой рукой и не пускает, а то щуплым тельцем перекинется через меня — я от него, он за мной. Бывает, на рассвете только отвяжется и заснет; но и тогда громким храпом не дает мне сомкнуть глаз; отчаявшись, я молю богов поскорей послать день, чтобы, избавившись от него, где-нибудь в другом месте найти покой. От таких ласк, как мой старик ни старался исполнить долг, я было совсем извелась. Но мне дали полезный совет — принести обеты Венере, и я решилась излить ей, как самой сострадательной из богинь, свое горе и испросить у нее какого-нибудь средства облегчить себе муку; как задумала, так и сделала. Из своих краев я пришла в ее храм неподалеку отсюда, с должным благоговением предстала пред ее алтарем и взмолилась:

«О сострадательная Венера, о святая богиня, чьи алтари я с любовью чту, преклони милосердный слух к моим пеням. Я молодая, как видишь, цветущая женщина, не утешенная старым мужем, боюсь, не растрочу ли я понапрасну лучшие годы, без отрады дожив до холодной старости. И если моя красота заслуживает того, чтобы ты причла меня к своим подданным, войди в мою грудь, ибо жажду тебя всем сердцем; дай ощутить твой жар, безмерно всеми превозносимый, к какому-нибудь юпоше, с которым можно было бы радостно вознаградить себя за все безотрадные ночи».

Не окончив моления, я внезапно не то уснула и во сне узрела то, о чем сейчас расскажу, не то наяву перенеслась туда, где мне было дапо это узреть: но вдруг я увидела себя в блестящей колеснице, запряженной белыми горлинками, высоко над землею; глянув вниз, я только и успела заметить небольшое пространство холмистой земли и лептой извившиеся воды. Вскоре далеко позади остались приветливые Италийские царства и высокие горы Эпира. Потом отвратительные горы Эматии, за которыми мне открылись воды Исмена, ключ Дирцеи и Огигийские горы, потом древние стены, воздвигшиеся сами собой под звук Амфионовой лиры. И, наконец, передо мной возникли приветливые очертания Киферона — туда и доставили меня белые птицы. Не могу твердо сказать, пылала гора или нет, но зренье убеждало меня в том, что отказывались признать чувства; с опаской ступив на священную землю, я взошла на вершину и

увидела кругом среди пламени, доступного только зрению, миртовые рощи, покрывшие всю гору так же, как Осса и Пиндар покрывают дубравы.

Я пошла наугад, не зная дороги и не ведая, что меня ждет, точь-в-точь как Эней по берегу Африки, и вскоре увидела среди миртов богиню, к которой взывала; явившись в божественном облике, она наполнила меня изумлением, какого мне не довелось испытать. Наготу ее лишь чуть прикрывала тончайшая пурпурная ткань, двойной складкой спадавшая с левого плеча; лик ее сиял ярче солнца; прекрасные золотые волосы струились по белоснежным плечам, а глаза излучали невиданный свет. Стану ли я описывать красоту ее уст, ослепительной шеи, мраморно-белой груди и всего остального, когда это выше моих сил, да и найди я в себе силы описать ее, кто мне поверит! И хотя от древних мы слышали, что Пракситель правдиво изваял ее в мраморе, изваяние это, как ни прекрасно, не может сравниться с богиней, какой ее увидела я. Среди смертных хвалу ей можно воздать лишь таким сравнением: любая прекраснейшая из нас рядом с ней покажется безобразной. Созерцая ее, я не дивилась влюбленности Марса и порицала безумную отвагу Адониса, сына Кинира, в единоборстве с вепрем, и постигла вожделенья богов, когда они узрели ее в хитроумных сетях Вулкана, и еще многое пронеслось у меня в голове.

Но вот богиня приблизилась, и я, преклонив колена среди зеленых кустов, робким голосом повторила ей свою просьбу. Выслушав меня и подойдя вплотную, она велела мне встать с колен и рекла:

«Следуй за мной, и твои упования исполнятся». Я последовала за ней, и вскоре среди зеленой листвы моему зрению предстал ее единственный сын; восхищенная его красотой, я увидела, что он всем обликом подобен матери, лишь то их разнит, что он бог, а она богиня. Не однажды мне пришла на память Психея, счастливая и несчастная разом: счастливая таким супругом и несчастная от утраты его, по стократ счастливейшая оттого, что вновь обрела его волей Юпитера. Наладив крепкий лук, он положил его подле колчана, а сам, разведя огонь, куда жарче земного, с ловкостью, неведомой смертным, из чистейшего золота стал ковать стрелы, закалять их в прозрачном ручье и, укрепив таким образом, вкладывать в лежащий рядом пустой колчан. Мои глаза никак не могли насытиться созерцанием бога, тем более

что все в нем было открыто для взора, кроме того, что прикрывали драгоценные крылья. О, какое было бы счастье изведать его объятия, думала я, вспоминая о безобразном старце, доставшемся мне в мужья. Но богиня велела мне взглянуть на ручей, закалявший стрелы. Послушно обернувшись, я увидела, как прекрасны и прозрачны его серебристые струи; рожденный в недрах земли, не сяннувший от жаркого солнца, он был виден до самого ясного, не замутненного илом дна. Ни овечка, ни птица, ни пробегающий зверь не возмутили его чистоты; с обеих сторон осененный зелеными и пунцовыми миртами, он, казалось мне, превзошел красотой даже тот, в котором отражался Нарцисс. При виде ручья мне, ничуть не томимой жаждой, захотелось испить его вод и погрузить в их прохладу свое жаркое тело.

Но пока я, склонившись над гладью, вглядывалась в свое отражение, юный бог взмахнул ярко блестящими золотыми крылами, с полным колчаном стрел отлетел прочь и в мгновение — еще более краткое, чем то, что успевает протечь, пока солнце, скрывшись за горизонт, явится антиподам, — он достиг наших жилищ. Не в силах проникнуть далее взглядом, я обратила его к богине: она меж тем, истомленная зноем, совлекла сквозные покровы, ступила в светлый ручей и до горла погрузилась в его прохладные струи; мне она приказала раздеться и последовать за ней. Так я и сделала; ручей обступил меня со всех сторон, но тела наши виднелись в воде так же ясно, как сучок под стеклом. Божественными руками Цитероя обвила мою нежную шею, и я извела поцелуи бессмертных; тотчас я восхвалила себя за то, что впила благому совету и почти утешилась за все слезы, пролитые с докучным мужем, а вслед за тем, освежившись в водах ручья, я сказала:

«О богиня, если возможно, открой мне, куда улетел твой любезный сын с полным колчаном стрел».

Божественным голосом она отвечала:

«Мы, услышав мольбы, сжалились над твоей бедой и послали за юношей, чья любовь послужит тебе утешением в жизни; ты увидишь, как он тотчас явится, готовый тебе угождать».

Обрадовавшись, я, как могла, со всем усердием возблагодарила богиню. Мы еще были в ручье, когда мой слух вновь поразили удары священного молота, кующего любовные стрелы: поняв, что Амур возвратился, я

догадалась, что за ним явился и тот, кому суждено пленить мои взоры. Горя нетерпением увидеть, каков мой суженый, я вскинула голову и огляделась; среди зеленой листвы я узрела бледного и робкого с виду юношу, который медленно приближался к священным водам ручья. Он мне сразу понравился, и его облик запечатлелся в моей душе; однако, устыдившись того, что он видит меня нагой, я залилась румянцем. А он, едва увидев меня, изменился в лице и от удивления замер. По знаку богини мы взяли на берегу одежды и, отойдя от ручья, избрали поблизости небольшую ложбинку, осененную миртами, заросшую прекрасной травой и пестреющими цветами, и там, на свежей лужайке, мы прилегли отдохнуть; потом богиня окликнула юношу, а когда он приблизился, так рекла:

«Агапея, любезная моему сердцу, тот робкий юноша, по имени Апирос, которого ты видишь среди травы, будет отныне твоим возлюбленным, как ты просила: смотри ревностно охраняй чистоту огня, который ты отсюда уносишь».

Я хотела ответить, но тут мою нежную грудь уязвила стрела, посланная могучей рукой Амура, а богиня продолжила:

«Мы даруем тебе рыцаря, нового на службе любви: он всем обладал сполна, но не знал нашего пламени, теперь оно зажжено в нем, ты же питай в нем любовный пламень так, чтобы холодность, уподобившая его Аглавре, навсегда оставила его сердце и чтобы пылкостью он сравнялся с Юпитером».

Так она рекла; все еще трепеща от страха, я было открыла рот, чтобы ей отвечать, как вдруг увидела себя молящейся в том же храме перед ее алтарем; немало дивясь, я огляделась, ница Апироса, и в этот миг ощутила в груди золотую стрелу. А рядом со мной, тоже уязвленный стрелой, стоял бледный юноша и неотрывно меня созерцал; догадавшись, что он пылает тем же огнем, я засмеялась и, довольная, обнадежила его взглядом. А после того как в служенье мне и богине он узнал жар любви, я сочла его исполненным доблести и, отвергнув, насколько могла, холодные объятия старого мужа, предпочла им объятия того, чью бледность сменил румянец любви. Вот почему я предана всей душой Венере, ее одну славлю, ей одной воздаю почести и служу; никому не хочу принадлежать, кроме нее, и другие боги мне неведомы; ее же волей я войду в небесное царство; теперь,

зная все то, что я вам поведала, вы не удивитесь усердию, с каким я посещаю ее храмы.

Окончив благоую повесть, она радостным голосом зачала такие стихи:

XXXIII

Как пламя, обращаясь черным дымом,
сжигало Иокасты сыновей,
причем, взметаясь надвое делимым,

существовало в виде двух огней
и удостоверяло тем деленьем
давнишнюю вражду родных кровей,

и как в святыне Весты раздвоенъем
огонь всех удивил, когда Помпей
оставить Рим почел своим решеньем,

так и гора Цитеры, что святей
других вершин, сверкает самоцветом,
и пламена ее из двух частей.

И часть одна возносится к планетам,
и воздымает сильный жар с собой,
и озаряет небо дивным светом;

другая ж часть, отъединясь от той,
склоняется к земле и столь блистает,
что всё дарит небесной красотой;

и разум охладельный разжигает,
и силу Цитереи в мир несет,
которую теперь не всякий знает.

И пламень этот в жаждущих вдохнет
и обретенъе, и познанъе бога,
в котором наша вера и оплот.

Желанне достичь сего чертога
столь благостно, что всяк друг другу — брат,
и к доблести легка его дорога.

И прямодушье множится стократ,
и множится добро, а добродетель
в чести и удостоена наград.

И тот, кто этого пути радетель,
избежит страха смерти, а иной
не избежит, и страх — его владетель.

Поскольку теплота тому виной,
воспламени себя огнем палящим
и тем достигнешь цели неземной,

где никого не видели скорбящим,
где благо и веселье — их почту
за счастье петь в пылу непреходящем.

И только в них я вижу красоту,
и я служу Венере с упоеньем,
чтоб, вверясь ей, взойти на гору ту,

куда стремлюсь с неодолимым рвением.

XXXIV

Меж тем Амето вернулся к сладостным размышлениям, обретая в них не меньшую отраду, чем в созерцании нимф, хотя порой огорчался краткостью их речей; его удручало, что беседе скоро наступит конец, а с концом наступит и миг расставанья. Тем временем его слуха достиг рассказ нимфы о том, как ее выдали за старого мужа, и; опечалившись, он стал досадовать на свою жизнь:

«О боги, о произвол неба, о коварство Фортуны, я бы проклял вас, если бы не страшился ответной злобы. Зачем вы возвысили меня душой, унизив рождением? За какие грехи я родился под несчастной звездой, обрешей меня горестям жизни? Эта юная дева влачила печальные дни со старым мужем, подумать только, за что? И где же тогда был я, о Фортуна, жестокая к моей доле? Разве я не был достойнее ее, чем этот старик? Чем он больше моего заслужил твою милость? Тем ли, что богаче меня, но зато у меня есть молодость, которой ему не вернут все сокровища мира, если только Медея не омолодит его, как Эзона. Конечно, Агапее он не чета,

а я бы во всем ей угождал; по крайней мере в том, чего больше всего желают юные девы, я бы послужил ей куда лучше, чем этот старик. О судьба, ты думала повредить мне одному, а досталось троим: старику — вечное покаяние, деве — урон, а мне — утрата великого блага. Если бы я смел возроптать, я показал бы тебе, какой гнев меня жжет и какая снедает досада. О несчастная молодость бедняков, ты не пора их жизненной силы, а залог грядущих невзгод, так минуй же скорей, раз богатства значат больше, чем доблесть: смерть — лучший удел, чем ожидание седой старости, горчайшего бедствия нищих. О красота, брэнное благо, зачем ты мне, если от тебя мало проку? Секитесь, светлые кудри, редей, борода! Седые счастливее нас: ах, какая от этого берет досада! О юная нимфа, зачем ты начала любовную повесть? Мне было почти довольно лицезрения твоей красоты; утешенный, я созерцал тебя, а теперь жалость к тебе и к себе исполнила душу скорбью, а радость обернулась печалью.

Но если ты так же мудра, как прекрасна, последуй примеру Елены, променявшей седые виски Менелая на золотые кудри Париса; ведь так же поступила бы и Бризеида, не заупрямься Ахилл. А если ты не знаешь этих примеров, я тебе о них расскажу; да я сам, если я по душе тебе больше, чем старый муж, готов вечно угождать тебе во всем, чего пожелаешь. О всевышние боги, дозвоьте ей стать моей, я, если нужно, скроюсь с ней на край света. С оружием в руках буду отважно ее защищать, если муж снарядит погоню: никакой труд мне не в тягость ради такой красоты, и самую смерть за нее я почел бы высшей наградой».

Так он долго сетовал, снова и снова устремляясь взглядом к прекрасной, и внимал ее повести, завидуя счастьем Апироса; как бы желал он оказаться на его месте, в порыве желанья мня, будто сам видит ее в светлом ручье обнаженной; в упоении он восхвалял прелести, которых не видел, обнимал их, прижимал к себе и покрывал поцелуями, и под конец распалился не меньше, чем нимфа. Но пока он предавался таким мечтам, она окончила песнь, тогда, очнувшись, он повернулся к юной деве в зеленых одеждах и молвил:

— О благородная нимфа, если вам будет угодно, поведайте нам о своей любви; молю богов, чтобы ваш рассказ меньше удручил нас, чем рассказ той, что сейчас умолкла, окончив речь.

Радостно засмеявшись, нимфа вскинула голову при этих словах Амето, и ясное лицо ее предстало взглядам по-друг; изящно, с важностью она повела рукой и начала так:

XXXV

— Много любовных историй я перебрала в надежной памяти, и каждую хотелось бы мне вам поведать. Но сначала вы услышите о моем происхождении, а потом, соблюдая заведенный порядок, я расскажу ту историю, какая сама запросится на язык. Сатурн уже был низвергнут Юпитером, когда эвбейские юноши, покинув Халкиду, на своих кораблях пристали к Капрее близ священных оракулов богини Мипервы; там они поселились и умножились в числе так, что им стало тесно на острове, отчего добрая часть их переселилась на Питтакузские острова. Но и те оказались малы, когда разрослось потомство, и тогда отделившаяся часть избрала место близ Авернского озера, верхней прохода к богам преисподней, к Миртовому морю и к мутному устью Волтурна. Приветствовав ближние горы, обильные рощами, и доли, пригодные для посева и плодородные с виду, они надумали заселить край, где, как бы ни разрослось их потомство, им не грозила теснота, вынуждающая искать новых пристанищ; распахав почву изогнутым плугом, пришельцы разделились на два народа, ибо некогда прибыли на Капрею с двух островов, и место поселения нарекли Кумы.

Еще не посетил в тех местах древней годами Сивиллы сын троянца Анхиза, не сорвал на плодоносных холмах священных ветвей для подношения Прозерпине, не предал вечному погребению бранных останков Мизепа, когда благородный и многолюдный град опоясали высокие стены, вознеслись к небу могучие башни и великолепные храмы. Но Юнона, позавидовав смертным, послала мор на расплодившийся люд и, равнодушная к жертвоприношениям и мольбам, грозя худшими бедами, вынудила многих покинуть кров. Отплыв в поисках новой гавани, они миновали еще неизвестные им теплые и приятные для купанья Байи, богатые серой горы и достигли Фалерна, еще не взрытого Цезарем, где виноградная лоза дает отменные вина; поднявшись в гору, они оказались лицом к лицу с огнедышащим Везувием,

который одним видом своим внушал ужас. Потом обратили взгляды к подножию, оглядели долину и дальше по пошли; придирчиво рассмотрев окрестности, они решили, что здесь без большого труда смогут осуществить свой замысел. Прежде всего они изучили небесные знаменья и сочли их благоприятными своим намерениям, потом убедились в том, что местность, отделенная холмом от моря, плодородна и изобилует разными благами; приветливая и веселая гавань тоже показалась им удобной, только воды было не вдоволь; однако они положились на свои силы и решили, не ища лучшего, осесть в долине; с тем они спустились с холма там, где между Фалерном и Везувием скудная река вливает в море усталые воды, и без промедления принялись возводить по склонам новые стены. Но не успели они увидеть дно вырытых рвов, как Юнона, не утолившая гнева, вынудила их вернуться к прежним жилищам. Они отплыли назад тем охотней, что еще раньше из-за дурного предзнаменования заколебались, стоит ли продолжать начатый труд. Дело в том, что, раскапывая землю, они в недрах ее обнаружили благородную усыпальницу из белоснежного мрамора; и, с трудом разобрав высеченную на ней малопонятными буквами надпись, прочли: «Здесь покоится дева Партенопа».

Опасаясь того, что находка предвещает им бесплодие и вымирание, они вернулись назад в не столь благодатную местность, а оставленной навеки оставили имя той, чью гробницу нашли. Возвратившись в свои жилища и недолго пожив в них, они вновь испытали на себе гнев Юноны; даже Эгине в царствование Эака не выпадало таких бедствий, какие выпали этим людям, оплаканным даже врагами. Но время шло, и немногие выжившие снова, в непоседливости своей, стали подумывать о новых местах; никакой край не манил их так, как тот благодатный, где их предки обнаружили гробницу Партенопы; а старинной надписи они дали обнадеживающее толкование: дескать, с сицилийской девой там, без сомнения, погребены бесплодие и смерть, что предвещает городу долголетие и процветание, и как удел города враждует с уделом девы, так жителям его суждено с оружием в руках враждовать с сицилийцами.

Раздельно прибыв в Кумы и раздельно покинув их, они так же прибыли в новое место; большая часть прибывших продолжила кладку стен на высоких склонах,

через препятствия довела мощные стены до самого моря и опоясала ими новый город, который так и называли, в отличие от старого, откуда пришли. Остальные, уступая числом, но не делом, осели на расстоянии брошенного камня в небольшой долине посредине между соплеменниками и Фалерном. Язык, обычаи, боги — все у них было общим, только жилища раздельны. В скором времени город украсился храмами, театрами, домами такими, что любо взглянуть; с каждым днем он становился чем дальше, тем лучше на зависть приходящим в упадок окрестным селениям; а в новые века стал великолепнее прежнего, многолюден и пышен и расширился так, что обе старинные части стали единым городом, прославленным на весь свет. Но покуда все это шло своим чередом, Эпей, покинув родные места, был изгнан со Строфад, бежал от берегов Африки, оставил Сицилию, посетил подземное царство и наконец вошел в величественное устье Тибра с кумирами троянских богов; там, приобретя дружбу Эвандра, заклав гневной Юноне белую жертвенную свинью и убив Турна, он вместе с Лавинией стал править Лаврентом и положил начало славному роду Юлиев. От священной девственницы этого рода и Марса родился Ромул; тот, строго блюдя справедливость, упорными усилиями восстановил древнее жилище Эвандра; стараниями его и преемников возведены были стены вокруг Палатина, а следом — вокруг Целийского, Авептинского и других холмов, которым суждено было, вознесясь над равниной, покорить мир. А когда в городе, нареченном по имени основателя, кончилась власть царей и немало лет прошло под управлением свободно избираемых консулов, ступени капитолиев вместо дерна и соломы покрыл белоснежный мрамор, сияющий золотом; повсюду явились высокие дивные храмы, полные разных богов, шумные театры, куда стекались юпоши, которым больше не было нужды похищать сабинянок; и вся округа заселилась народом, могучим и приводящим в трепет весь мир; а когда город отпраздновал невиданные триумфы над восточными племенами, Испанией и другими народами, имя Рима прогремело по всему свету. А после того как над ним стал властвовать божественный Цезарь, он вознесся над целым миром; покуда боролся Цезарь за власть, немало величайших тягот пришлось претерпеть ему в краю над Ибером еще до сражения при Фарсале, но, выйдя из них победителем, он повел за собой па по-

вые подвиги людей, древних родом, благородных нравами, прославленных верностью, сияющих доблестью, яростных в сражениях и стойких в трудах; этих людей, преданных ему до последнего дня его жизни, он сам после одержанных побед наградил римским гражданством и высоким положением. А потомки их, благодаря своей доблести, всегда возвышающей тех, кто ее проявляет, со временем приобрели обширные земли, богатства и должности, и роды их процвели. Об именах их нет твердых сведений: одними упоминаются Фрезопани, другими Аннибали. Что вернее, за давностью лет неустановимо: впрочем, известно, что среди носящих оба имени есть и первосвященники, и полководцы.

Одип из потомков этих людей после разорительных нашествий вандалов оставил Рим и подчинил своей власти древний город, родину Ювенала; правя им, он себе и своим наследникам, которые стали мне предками, дал имя города. Часть их, и среди них мой отец, переселилась в тот пышный город, о котором я рассказывала раньше, и заняла в нем высокое положение близ престола того, кто сейчас в нем правит; этот монарх, осыпанный дарами Паллады, алчный и скупой, заслуженно прозван Мидасом по имени Мидаса-царя. Как и предки его, носящие тогу галлы, он почитал названный род и выдал за моего отца свою молодую и знатную соотечественницу, превозносимую всеми за красоту, а еще более за благородство права. Она, как богиня ста рек, умела направлять все течения в нужное русло, меня же при рождении наградила двумя отцами, из которых один более знатен, а другой, без сомнения, более честен. Но мне не хотелось бы, чтобы виновной сочли мою мать или осудили за измену супругу, поэтому я раскрою вам тайну того, как у нее силой похитили честь.

Солнце уже отторгло немало часов у ночи и, третьим братом войдя в созвездие братьев Елены, затмило их блеск, когда упомянутый мною Мидас был увенчан двойною короной и в честь этого вознамерился устроить великое торжество, на которое пригласил знатных людей из всех подвластных земель. В город на праздник отовсюду явились дриады, лесные нимфы, наяды — подданные монарха, но среди всех красотой выделялись партенопейские жены, украшенные золотом и дорогими камнями, а меж ними прекраснейшей была моя мать. Расставили столы и за них усадили множество гостей,

предоставляя каждому место сообразно знатности рода. В серебряных сосудах подали обильные яства, а в золотых искусной работы кубках — благородные вина для утоления жажды; в царской зале пирующим прислуживали дочери именитых людей; блистающие покои гремели музыкой,— праздник был в самом разгаре, когда государь в роскошных одеждах, окруженный придворной знатью, стал с приветливым видом обходить гостей, поощряя веселье. В то время как он любовался то одной, то другой дамой, он остановился взглядом на лице моей матери, чью красоту особо отметил; и, не сказав ни слова, тут же решил, что не преминет более счастливым образом узпать ее прелести, если не помешает злая судьба.

Веселый праздник завершился в положенный срок, а с окончанием его гости разъехались по домам. Но моя мать была среди тех избранных, кому часто приходится бывать при дворе, ибо муж ее занимал там высокую должность. От частого созерцания памятных черт повый монарх еще более распалился и стал искать случая исполнить задуманное. Но судьба, попечительница власть имущих, сама о нем позаботилась, подстроив так, что моей матери понадобилось обратиться с просьбой к благожелательному монарху; выслушав, он не поскупился на обещания. Однако так коварно обставил дело, что как только она стала добиваться обещанной милости, сама попалась в расставленные силки и против воли досталась ему в обладание. Утолив его вожделение, она получила просимое и, видя, что все осталось в тайне, умолчала о совершенном насилии. Если бы все это не привело к моему рождению, я бы, конечно, сказала, что она согрешила, не последовав примеру Лукреции. Но оскорбленное лопо то ли от обмана, то ли от мужнего семени в тот же день зачало плод, и в должный срок моя мать разрешилась от бремени мною.

Я была совсем маленькая и ничего об этом не знала, когда моя мать, задумав перейти в иной мир, призвала меня к себе и, наказав держать случившееся в тайне от всех, как держала сама, открылась мне в том, что я вам сейчас доверила, как самой себе. А на признание, по ее же словам, она подвиглась для того только, чтобы я принимала от государя дары с большим доверием, зная, что они исходят, может быть, от родителя. Вот так, не зная, кто мне отец, я обрела сразу двоих; но вскоре мнимый, а возможно, действительный мой отец, собравшись уйти

вслед за матерью, завещал меня попечениям дев-весталок для того, чтобы, оберегая чистоту моих нравов и занятий, они украсили тем мою юность. Благочестивые заботы пошли мне впрок; я так охотно подражала всем обрядам весталок, что одного только мне недоставало: принять их обеты. Но оттого, что я их покуда не приняла, Веста благоволила мне ничуть не меньше, как однажды самолично дала мне понять. Девственное солнце уже покрыли Гесперийские воды, и первый бессонный петел уже пропел, и звезды стояли в небе, когда я, совсем еще юная, сидя без сна у маленького окошка, смотрела на звезды, размышляя об их движении, красоте и вечности, и внезапно увидела перед собой Весту в благочестивых одеждах, окруженную девами; милостиво взирая на меня, пораженную, она обратилась ко мне с такими словами: «Милая девочка, что ты там видишь?»

Я едва могла вымолвить слово, но не хотела оставить ее без ответа; она же подошла ко мне ближе, и, когда я благоговейно склонилась к ее ногам, рекла: «Я та богиня, чей огонь ты, чистая душой, хранишь вместе с другими непорочными девами. Желая выказать тебе благодарность, я клянусь Стигийскими водами: если ты столь же усердно будешь хранить этот огонь в продолжение всей твоей жизни, Юпитер наградит тебя венцом Ариадны, который восемью звездами блещет на ясном небе».

И в ответ на мое обещание она указала мне божественным пальцем созвездие, после чего со словами благодарности скрылась из глаз. Исполнившись радости, я решила до конца дней жить в ее священных храмах. Но судьба распорядилась иначе, ибо внешность моя противоречила намерениям и явилась причиной того, что я нарушила свой обет; дело в том, что моя красота приглянулась одному из знатнейших юношей того города, где я родилась. Этот юноша благородной крови, видный собой, обильный дарами Юноны, сначала ко мне посватался. Но когда я его отвергла, он не смирился и попросил моей руки у того, кого полагал моим отцом; его просьба была выслушана благосклонно, и я не посмела ослушаться объявленной воли. Тем не менее я проявила бы строптивость, если бы мне не было дано знать, что супружество не помешает мне хранить священный огонь богини. И так я стала и остаюсь супругой того, кто меня домогался, но, не утратив надежды обрести венец, радостно посещаю храм Весты и воздаю ей особые почести.

А теперь я расскажу вам, как извела власть Венеры. Став женой, как вы знаете, упорного в желаниях юноши, я прожила с ним несколько лет до того времени, как ему по какой-то надобности пришлось уехать в Капую, некогда один из трех славнейших городов мира. Оставшись одна, я боязливо влачила одинокие ночи в холодной постели, пока однажды — в ту пору года, когда Аполлон лишает силы холодный яд Скорпиона, — уснув в одиночестве мирным сном, я не увидела в обманчивых образах сновидения то, что без обмана происходило со мной наяву. Мне снилось, что я в объятьях супруга и уже близок тот миг, которым мы всего более дорожим наяву и во сне, как вдруг восторг пересилил сон, и тот, отлетев прочь, оторвал меня от груди мужа; очнувшись и вспомнив, что его нет, я внезапно увидела себя в объятьях юноши. Язык мой уже готов был звать па подмогу слуг и перед всеми обнаружить печальный обман, я поспешно рванулась прочь с пышного ложа, но бесстрашный юноша, обладая силой большей, чем я, схватил меня и удержал от крика, сказав несколько слов голосом, который я тотчас признала. Ослабев духом, я затрепетала, как гибкий тростник, колеблемый ветром, через силу умоляя его оставить меня и пощадить целомудрие ложа. Но после того как он объявил, что смерть предпочтет разлуке, всячески стараясь прогнать от меня страх сладкогласной речью, я подняла полог и зажгла светильники, чтобы удостовериться, тот ли он, за кого я его приняла, а убедившись, что слух не обманул меня, я обратилась к нему:

«О юноша, скорее безрассудный, чем мудрый, не протирай руки дальше, чем мне угодно, если жизнь тебе дорога; любовь внушают приятными манерами, а не силой. Говорят, будто женщины любят, чтобы их силой склоняли к тому, чего им и так хочется, но здесь для этого неподходящее место; да и если я этого захочу, то время у нас еще есть, поэтому я буду задавать вопросы, а ты отвечай, и если я увижу, что ты достоин меня, тебе не понадобится ни сила, ни уговоры; в противном случае ты только напрасно утомишь и язык, и руки».

Выслушав, он с жарким вздохом отпустил меня и отодвинулся на другой край постели, после чего сказал:

«Я явился сюда не осквернять целомудрие твоего ложа, а как пылкий возлюбленный, чтобы подле тебя остудить свой жар, с которым иначе не могу совладать,

разве что покончив с собой по твоему велению. И я обещаю, что расстанусь с тобой или утолив желание, или погибнув; я не стану домогаться силой твоей любви или ждать, пока кто-нибудь ворвется сюда и моей кровью обагрит себе руки, я сам безжалостно вонжу себе в грудь этот острый нож. Но я отвечу тебе на то, о чем ты хочешь меня спросить».

Меня не испугали жестокие клятвы и, твердо держась своего намерения, я спросила, как он сумел столь отважно проникнуть в дом; на что он отвечал:

«Это твоя Экатен провела меня удобным и безопасным ходом, побежденная уговорами и чародейным зельем из разных трав; тем же способом я проник бы и к тебе в душу, если бы желал заполучить твою любовь силой».

Я подивилась такому признанию; но поверила ему на слово, ибо другого пути не знала. Тогда я спросила у него, как, когда, где и почему я ему приглянулась. Он несколько раз вздохнул и отвечал голосом кротким и тихим:

«О прекрасная, пламень моего сердца, я родился некодалеку от места, где родилась твоя мать; еще младенцем я был привезен в Этрурию, откуда, возмужав, прибыл сюда. Когда я был уже в окрестностях города, небо, проницая грядущее, отчасти явило мне то пламя, которому суждено было меня охватить в городе, дотоле мне неизвестном; не знаю сам, по какой причине, я погрузился в приятные размышления; замечтавшись, я вдруг увидел себя посреди города; вид улиц, где я никогда не бывал, приятно занимал мою душу. И виделось мне, что я иду по одной из этих улиц и внезапно вижу перед собой прекраснейшую деву с прелестными чертами лица, изящную, в зеленых одеждах, убранную соответственно возрасту и древним обычаям города; радостно меня приветив, она взяла меня за руку, поцеловала, и я поцеловал ее; после чего приятным голосом она сказала мне: «Приди туда, где все твое благо». Только я хотел за ней последовать, как меня внезапно тряхнуло, и, с ощущением боли очнувшись от грез, я увидел, что лошадь споткнулась и сейчас свалит меня на землю, а впереди виднеется тот самый город, где я только что находился в мечтах. Но образ его уже исчез из моей памяти; огорченный случившимся, под смех спутников я проехал через ворота и вступил в город, где прожил всю пору юношества, не вспоминая об увиденной девице; как все

другие юноши, я вскоре начал заглядываться на ясную красоту женщины этого города. Среди них была одна нимфа по имени Пампинея; удостоенный взаимности, я довольно долго ее любил. Но меня отняла у нее своей красотой другая, по имени Абротония, и я сделался ее возлюбленным. Она превосходила Пампинею красотой и знатностью и пленила меня своим обхождением; но недолго я находил отраду в ее объятиях: по наговору или другой причине она сурово меня отвергла, и жизнь мне постыла. Много раз я тщетно пытался вернуть утраченную милость, а однажды был так подавлен тоской, что набрался смелости и, оставшись наедине с ней, сказал: «Благородная дева, если я могу еще уповать на твою любовь, я соединю все свои мольбы воедино, лишь бы добиться от тебя милости».

Но она отвечала: «Юноша, красотой своей ты достоин любви, но бесчестием своим ты ее недостоишь. Поэтому живи, как тебе заблагорассудится, но оставь надежду вернуть себе мою благосклонность».

Проговорив это, она поспешила уйти, точно опасалась меня. Скорбь нетерпеливой Дидоны при виде отплывающего Энея не могла бы по силе сравниться с моей, но я о том умолчу, зная, что словами не передам и сотой доли того, что испытал; в тоске я удалился домой и там не раз готов был положить конец моим горестям тем же способом, что Ифис или Библида. Но вот день померк, почь объяла всю землю, и на меня, погруженного в печальные мысли, сошел сон подобием смерти. Не знаю, какой бог надумил Морфея послать мне из жалости или жестокости разнообразные сновидения, только они полны были ужаснейших образов. Под конец мне привиделось, будто я сижу в углу моей комнаты, а передо мной стоят Пампинея и сердитая Абротония; обе они смотрят на меня с насмешкой, злыми словами глумятся над моей бедой и презирают меня. Я молю их оставить меня, раз они сами явились причиной моей скорби. Но все мои увещеванья напрасны, они только больше изощряются в оскорблениях и продолжают донимать меня язвительными речами, отчего скорбь терзает меня все больше и больше. Тогда, подняв голову, я снова говорю им: «О девы, глумящиеся над моим несчастьем и надо мной самим, который так усердно вас чтит, оставьте меня; эти глумления — дурная паграда за стихи, в которых я восхвалю вам хвалу, и за все труды в вашу честь». На это

Абротония пылко мне возражает: «Не бойся, твои мучения будут недолги, скоро ты увидишь ту, кому воспоешь хвалу громче, чем нам; мы затем и явились сюда, чтобы наставить тебя умолкнуть, если захочешь воспеть другую».

На это я отвечаю: «Боже, упаси меня от того, чтобы, избавившись от вашего ига, чего я жажду, я подпал под другое или стал прислушиваться к стихам, которые диктует мне Каллиопа».

На это они без промедления отвечают: «А мы и не удерживаем тебя, ибо та дева, еще не достигшая твоих лет, стократ жесточе овладеет твоей душой; если хочешь взглянуть на нее, подожди, сейчас мы ее покажем».

Так они сказали, и вдруг все исчезло. Удивленный, я медленно приподнялся на горестном ложе и стал шарить в темноте огонь; наткнувшись на угольки, чуть тлевшие под золой, я от неожиданности обжег дрожащие пальцы, отдернул руку и, проворно схватив другой дымящийся уголек, поднес его к сухой пакле и подул на слабый огонь; тотчас яркий свет разогнал сумрак ночи, которая способствовала моей печали. После этого я вернулся к прерванным размышлениям и, скорбный, долго оставался без сна. Однако ночь еще не успела завершить трудов, когда я вновь, ослабев от дум, отдался благодатному сну. Но не успел я погрузиться в его глубины, как передо мной снова явились обе насмешницы, хотя теперь в их лицах было меньше издевки; а между ними я увидел невиданно прекрасную молодую женщину в зеленых одеждах. «Вот, — сказали они, — та, о ком мы тебе говорили, она будет властвовать твоим сердцем, и ради нее тебе придется выказать всю свою доблесть». И ничего не ответил, но, забыв об обидах, весь погрузился в отрадное созерцание, говоря про себя:

«Поистине перед ее красотой меркнет все, что я видел; нет подвига, перед которым отступит тот, кому дано заслужить ее милость».

И вдруг затерявшийся в памяти образ, некогда виденный, живо встал пред моими глазами; я понял, что это та самая дева, которая в отрочестве явилась мне в грезах при въезде в город и, поцеловав, радостно позвала за собой. И хотя Феб с тех пор шесть раз прошел через двенадцать небесных знаков, правдивое воображение прояснило в затуманенной памяти виденные черты, и они совпали с чертами той, кого я сейчас созерцал. Обрадованный, я с каждым мигмом преисполнялся восхи-

щенья все больше и больше, пока оно наконец не пере-
сило сна, вместе с которым исчезли образы обеих
насмешниц и той, на кого мне было так отрадно взирать.
Бдительный кочет пением уже оповестил о наступлении
дня, когда я, расставшись со сном, вознес к небу мольбу
о том, чтобы увиденное обернулось правдой; затем, пи-
тая твердую надежду на удачу, я отправился обходить
все места, где собираются прекрасные девы и жены,
чтобы найти ту, что предстала мне в снах; утрату преж-
ней любви я переносил теперь с меньшей скорбью. Шест-
надцать раз предстала полной и столько же раз двурогой
Фебей, прежде чем я отыскал среди многих красавиц
ту, чей образ лелеял. Но высший промысл все в мире
устраивает целесообразно: в ту пору, когда солнце пере-
шло за середину созвездья Овна; в тот день недели, на
заре которого Сатурн, гонимый сыном, стал править
в Лацуме; в тот час, когда Феб миновал первую треть
неба, я вошел в храм, носящий имя того, кто, желая спо-
добиться царства бессмертных, всем телом принял стра-
дание, которому Муций Сцевола перед Порсенной под-
верг лишь одну свою руку. Внимая хвалам, возносимым
Юпитеру за посрамление Дита (их пели жрецы, подра-
жавшие бедностью Кодру и давшие обет удовлетворять
одни простейшие нужды, отвергая все лишнее), я увидел
вас, красивейшую во вселенной, в темных одеждах, и
мое сердце, почти забывшее о том, что я вам рассказал,
но еще не забывшееся ради другой, внезапно затрепетало.
Не сразу я понял, что со мной происходит, и, глядя на
вас, попытался вспомнить, видел ли я вас прежде, но
из-за цвета одежды от меня ускользало время и место.
Однако ваш благородный облик, властвуя над моей ду-
шой, уже зажег меня пламенем, которым я с тех пор
горю и не перестану гореть. Весь тот день я напрасно
утруждал свою память, и все было бы тщетно, если бы
я не пришел в тот же храм на другой день по случаю
праздника; там, как вы помните, я увидел вас в топчай-
ших зеленых одеждах, в блеске золота и драгоценных
камней, прекрасную от природы и благодаря убранству.
Как только зеленое платье предстало моим глазам, мой
разум, который все время был начеку, тотчас узнал вас;
и я с уверенностью сказал: «Это та самая, что в моем
отрочестве и недавно явилась мне в снах, это она с ра-
достным ликом приветливо возвестила мне скорое вступ-
ление в город, это она будет властвовать над моим серд-

цем и, как обещано, будет моей госпожой». С того часа я предался вам всей душой и открыл вам свое сердце, которое перед тем поклялся замкнуть навеки; приняв вас в него, я до конца дней буду хранить в нем ваш прекрасный облик и за вашу красоту буду вас как единственную госпожу чтить, любить и ценить превыше всякой другой. Итак, если вы обдумаете все, что я увидел, а вы слышали от меня, если вы вспомните, как я на вас взирал, вы убедитесь, что суждены мне самим небом и должны быть моей по долгу любви. Поэтому, всей душой принадлежа вам, я молю вас, будьте моей, иначе разом погибнет и моя жизнь, и ваше доброе имя».

И он умолк, обливаясь слезами. Выслушав его долгую речь, я по многим признакам убедилась в силе его любви. Но пока я, видя в его правой руке нож, готовый миловать и казнить по моему приговору, раздумывала, как мне быть, ибо жалость влекла меня в одну сторону, а веление супружеского долга в другую, Венера, пособница влюбленных, явилась и, разлив в комнате яркий свет, певнятым шепотом стала мне угрожать. И наконец, видя, что мои колебания затянулись, грозным голосом возгласила: «О дева, даруй жизнь моему рыцарю, если не хочешь навлечь на себя гнев богов». И с этими словами исчезла, а я, пронзенная огненным лучом, загорелась любовью к юноше. Но и тут я все еще колебалась, обнаружить ли то, что внезапно ощутила в душе, созерцая его обнаженного и прекрасного при слабом свете, проникавшем через тонкий полог, и про себя твердила: «Что, что удерживает тебя? Приди же к нему, обвей томными руками его нежную шею». А он тем временем ждал моего ответа и наконец, видя, что я молчу, спросил: «Каков твой приговор, о госпожа? Пронзит ли мою грудь холодное острие или согреют твои объятия?»

Устрашенная, я отбросила холодность и ринулась к нему на другой край ложа. Выхватив у него проворной рукой острый нож, я обняла его, много раз поцеловала и заключила:

«Юноша, дух мой отступает пред натиском богов, твоей смелости и красоты. Я навеки твоя, как тебе предрекли сны; едва ли мне надо просить, чтобы и ты был навеки моим, но если надо, то вот я тебя прошу быть моим отныне и навсегда».

Он с радостью, страшными клятвами, поклялся мне в том, чего я просила. И тогда я, больше не колеблясь,

удостоила его желанной награды; с тех пор он мой и пребудет моим всегда, послушный мне и моим наставленьям. Так я стала служить Венере, а видя, как она печется о своих подданных, я с еще ббольшим усердием чту ее как мою богиню; и тем ревностнее, чем дольше не решалась ей покориться. А для того чтобы угодить Калеону, который называет меня Фьямметтой, и в память о том, что до нашей любви он увидел меня в зеленых одеждах, я с радостью одеваюсь только в зеленое; и еще в память начала нашей любви и в вечную честь богини я радостно посещаю ее храмы.

После этого ей оставалось только пропеть стихи, и она начала:

XXXVI

Венец бесценный Ариадны, словно
великий символ, с неба светит нам,
и он обещан мне не пустословно;

ко многим добродетельным делам
он вел героев; он подвиг Персея,
который пожелал его и сам,

Палладою научен, не робея,
убить Горгону, а минойский бык
был побежден уловкою Тесея.

Персей, победоносен и велик,
с освобожденной Андромедой милой
супружества счастливого достиг.

И Юний Брут с неслыханною силой
секирой сыновьям нанес удар,
дабы коварностью, ему постылой,

не предали свободу — божий дар.
Катон Утический и Цензор — оба
являли свету мужественный жар,

с молодых ногтей труждаясь и до гроба,
дабы пресекся на земле порок
и миру зло не диктовала злоба;

их труд святой припес немалый прок —
Кипр с Утикой и с Ливией Ахайя
тому и подтвержденье, и залог.

Был праведен Фабриций, отвергая
самнитов деньги, эллипов дары;
а жадный взял бы — сделка неплохая!

И речи Цицерона столь мудры,
и честь Эмилия, и жизнь Торквата
прославились премного в те поры,

и Сципион, стремившийся когда-то
венца достигнуть, — все сини мужи
влеклись к нему, хоть исподволь, но свято.

И в срок ему Дидона послужи,
когда ненужной сделалась Энею,
уплывшему в чужие рубежи,

и, может, поступила бы умнее,
и душу исцелила бы тогда,
и с исцеленной бы смирилась с нею.

И скорбная Библида никогда
от света б не отторглась, твердо зная,
что мир душа обрящет навсегда.

Так, вред себе немалый причиняя,
иные жизнь и скорбь свою клянут,
себя из жизни сами изгоняя.

Безумные! Неужто же от пут
и тягот нету лучше исцеленья?
Не лучше ль к мукам притерпеться тут,

чем смертные умножить прегрешенья
и душу блага вечного лишить —
себя сгубить и не пайти решенья?

И мне, пща любовь, пришлось пролить
немало слез: не безмятежна доля
тех, кто, любя, предполагает жить;

но жду венца, и пусть страданьям воля
подвластна будет — оборовши страх,
уйду победно с боевого поля

и заслужу венец и жизнь в веках.

XXXVII

Распорядившись, кому из нимф рассказывать в свой черед, Амето удобно расположился на зеленой траве среди пестрых цветов, уставил в землю локоть и подпер левой рукой белокурую голову. Глазами, ушами и помыслами он тотчас обратился к лицу, речам и страстям прекрасной девы, отвлекшим его от прежних раздумий, и подчинился теченью ее рассказа. С наслаждением внимая повествованью о древности благородной Партенопей, он восхвалял ее про себя и вспоминал, что не раз слышал про то, какая превосходная охота в этом крае, прославленном обилием молодых резвых козочек, проворных, быстроногих косуль и ланей, зрелых годами, знающих, как увернуться от сетей, собак и охотничьих стрел. Потом стал раздумывать о дерзости Калеона и, поначалу сочтя ее безрассудной, под конец восхвалил, решив, что Фортуна на стороне дерзких, да и со столь прекрасной дамой осторожность куда предосудительней, чем безумная смелость. Но больше всего он подивился вещицу сну и рассудил, что его, без сомнения, промыслило небо; с нылким желанием он подумал: «А что, если бы на месте Калеона был я и все завершилось бы худшим из того, чем могло завершиться, то есть смертью, ибо что хуже смерти? Ничто. Ее все почитают наивысшим несчастьем. Но такой конец то ли ждал бы меня, то ли нет. А если бы он все же меня настиг, я принял бы его с благодарностью, хотя говорят, что умирать хорошо, спасая другому жизнь. Однако разве есть надежнее путь в жилище богов, чем расстаться с душой на руках у такой прекрасной нимфы или хотя бы ради нее? Нет, конечно, а значит, Калеон был мудр, а не безрассуден».

Но пока он рассуждал таким образом, прекрасная дама, окончив повесть, начала стихи, и ему пришлось, отвлекшись от своих дум, оглядеть оставшихся, чтобы решить, чей черед продолжать. Оказалось, что нет больше никого, кроме Лии; взглянув на нее, он залюбо-

вался ее красотой; и, дивясь ей больше прежнего, пораженный, молчал. Ее одежды всюду блистали золотом, прекрасные волосы обвивал дубовый веночек, а лицо будто озарял дивный свет. Долго созерцая ее, он увидел, что она так же прекрасна, как ее подруги; и, почувствовав, как он богат ее милостью, отдал ей всю свою душу и укорил себя за недавние мысли, когда с пылким желанием хотел то быть на месте Афрона, то превратиться в Ибрида, то стать Дионеем, то поменяться местами с Апатепом, Апиросом и Калеоном. Нельзя сказать, чтобы ему вдруг стало в тягость представлять себя возлюбленным этих нимф или чтобы он их отверг, но он устыдился того, что полагал других счастливей себя. Тут, однако, услышав, что нимфа окончила песнь, он очнулся и со смиренным видом просил Лию последовать примеру подруг; улыбнувшись, она так начала:

XXXVIII

— История моей любви заключена в немногих словах, а так как до прохладных сумерек еще далеко и я осталась одна, то я постараюсь занять время беседой так, чтобы оно протекло не праздно. Повесть моя будет долгой. Сначала я расскажу о происхождении нашего города, а потом постепенно дойду и до того, как Венера явила мне свое пламя. Никто еще не успел прослышать о том, что Юпитер похитил Европу, когда обеспокоенный Агенор, достойный жалости и безжалостный одновременно, отдал жестокий приказ сыну Кадму и тот, повинувшись отцу, стал изгнанником. Скитаясь в поисках пропавшей сестры, он благородной душой постиг высокую мысль — возвести для себя и своих сидопских товарищей новый град. Наученный Аполлоном, он устремился за телкой, не знавшей ярма, через Ионийские горы и доли, и там, где она с мычаньем прекратила свой бег, он вместе с мужами, выросшими из драконьих зубов, основал беотийский град, которому, не родись в его стенах столь красивые девы, суждено было бы, кто знает, более долгое процветание. Выдержав гнев Юноны, может быть, за Данаю и бедняжку Семелу, опоясанный после бед Атаманта стенами под звук Амфионовой лиры, он перешел наконец в руки Лая; под его властью, огромный и многолюдный, выстоял против всех могучих соседей

и радостно припосил жертвоприношения Вакху. За несколько дней до гибели от руки сына Лай успел выдать младшую сестру Ионию за Оркама, знатнейшего человека в царстве. Достигнув середины жизни, чета уже начала клониться к печальной старости, не имея потомства, когда Иония, несмотря на плачевное положение города из-за вечных распрей враждующих братьев, со слезами вознесла Вакху жалостные мольбы, прося остаток дней не дать ей прожить бездетной. Как ни утомили бога непрестанные мольбы фиванцев о благодетствии родины, он приклонил слух к жалобам Ионии и явил милость чете, обреченной не увидеть своего сына. Возрадовавшись, Иония во тьме ночи отраднo зачала с мужем желанный плод, после чего раскинулась на широком ложе и долгим молчанием приготовилась к безмятежному сну. Но когда он проник в ее ревностную душу и объял отяжелевшие члены, бодрствующим очам души предстало такое видение: будто бы, выносив плод, она сама призвала Люцину и — подобно тому как во сне Астиага Мандана разрешилась лозой, осенившей всю Азию, — разрешилась облаком дивных размеров, которое одним концом облегло небо, а другим придавило землю и простерлось за видимые пределы; дважды его раскололи ужасные молнии, но оно снова сходилось, в третий раз его пронзило и воспламенило могучим огнем, после чего оно изошло паром и все кругом прояснилось. Это диво прервало ее сон, и, пробудившись, она в испуге чуть было не раскаялась в своих мольбах. Но вскоре вестие предзнаменовавшее раскрыло ей судьбу будущего потомства, и она стала радостно дожидаться срока тягостных родов. Однако прежде, чем он подошел, Оркам, раненный, пал на кровавых полях от руки Тидея, и тогда, в скорби, надев траурные одежды, Иония стала торопить время, надеясь, что плод ее чрева возместит Фивам потерю Оркама. Срок пришел, но Люцина, призванная к печальному ложу, не даровала ей беспечальных родин за то, что она больше радела о своем благе, чем о благе отечества, и, позволив сотворенному сыну беспрепятственно явиться на свет, отняла душу у матери. Тогда Исмена, зная об уготованной младенцу судьбе, заботливо взяла его на свое попечение, вскормила как собственного сына и нарекла Ахеменидом. Но после того как пагубные распри, несмотря на мольбы Иокасты, окончились гибелью братьев, узнавших равную участь,

п при Тесее рухнули бряцанием лиры возведенные стены, Исмепя бежала сначала от гнева Креонта, а потом от гнева богов и укрылась вместе с Ахеменидом в царстве Лаарта, где ребенок едва остался жив без материнского молока; там, бедствуя, Исмепя вырастила его как человека простого звания до возмужалости, после чего вручила ему отцовское оружие и доспехи.

Меж тем Фортуна, рушительница земных благ, зажгла меж Фригией и Аргосом смертную распрю за похищенную Елену и содвинула в битвах рати. Славные мужи со всей Греции устремились туда, и с ними славнейший среди всех красноречивый Улисс; он-то и увлек за собой в троянские битвы возмужавшего и стойкого в сражении Ахемениду, полагаясь на его юную доблесть. А когда хитростью взятая Троя лежала в огне и крови и страдалец Эней, изгнанный из отечества, начал свои скитанья в морях, Улисс со спутниками взошел на корабль и после многих бурь, заброшенный против воли в Тирренское море, сошел на Тринакрийский берег. Там он выжег глаз Полифему и поспешно отплыл в море, по забывчивости оставив безоружного Ахемениду между жизнью и смертью во власти разъярившегося Циклопа. Оттуда юношу, натерпевшегося страху, спасли враждебные корабли Энея и как союзника в будущих битвах доставили в спасительные гавани Тибра, где он, памятуя о благодеяньях Энея, славно отличился в его победах. Но когда тот, утвердившись в Лавренте, стал радостно и безраздельно владеть Лавинией, Ахеменид, послушный воле судеб, расстался с сыном Анхиза; не уступая предкам в величии духа, он пожелал исполнить обеты, данные в пору бедствий среди слепых угроз Полифема, и под лучшим небом восстановить павшие Фивы. Получив испрошенное согласие, а сверх него оружие, лошадей, сокровища и многочисленных спутников, он отъехал прочь, и божественный промысл привел его в эти места, где в те времена по полю было рассеяно всего с десяток домов. А надо вам знать, что на Корит, прекраснейший холм, что виден отсюда, недолгое время спустя после похищения Европы взошел Атлант, сын Япета (хотя некоторые говорят, что Корит — муж Электры), и там от него родилось три сына: Итал, Дардан и Сикул, и каждый после смерти отца стал домогаться власти. Но боги устами оракула судили ее Италу, а двум другим братьям повелели в иных пределах искать владений,

которые уготованы им судьбой для великих дел. Сбравшись в путь, братья с большей частью людей прибыли в это самое место: в ту пору здесь не было ни храма, ни дома, ни деревца, дающего тень, а только один исполинский дуб, выросший, по преданию, еще до того, как Юпитер обрек мир потопу; высился он примерно в трехстах шагах отсюда, далеко простирая ветви, густо покрытые листьями и желудями. Под ним и расположились братья со своими людьми, затеплили жертвенные алтари, возложили на них внутренности ста закланных ярок и стольких же тельцов и возгласили благочестивыми голосами:

«О могучий владыка, о предводитель в сраженьях, о чтимый Марс, чей пламенный луч привел сюда наших предков, прими благосклонно наши молитвы; и добровольные жертвы, как они ни просты, прими от нас с тою же радостью, с какой мы их возносим: ради могущества твоих царств, ради великих побед, коим свидетельства — рассеянные кости гигантов на Флегрейских полях; ради священной любви твоей к матери Купидона благослови нас в путь и направь во славу себе; и пусть это место у пределов родного края, где мы принесли тебе первые жертвы, вечно будет твоим; и это древо, под чьей сенью мы благоговейно возносим тебе молитвы, уповая на лучшее время, пусть разрастется, а всю землю вокруг него на полет стрелы мы по наследственному праву посвящаем тебе, остальную же оставим под властью брата. Пусть это поле пребудет певозделанным во веки веков, и пусть ежегодно в этот же день вершатся на нем игры в честь твоей божественной силы как вечное напоминание о нашем исходе».

Так рекли они, и небо, излив яркий свет, осияло всю местность и тем подало знак, что обет услышан, и тут же воспряла сникшая под солнцем листва. Тогда все, кто там был, радостно уселись вокруг пировать, исполненные лучших надежд; а после того как все было съедено, братья и спутники их обняли тех, кто оставался с Италом, и, нежно простившись со всеми, отправились прочь и достигли краев, где до сих пор жива слава об их деяниях. А коритяне с тех пор чтят это поле, обведя его межой по завету братьев, и вершат на нем молебствия и игры, посвященные могучему богу, и оберегают его землю от прикосновения гнупого плуга и иных посягательств; тяжкая кара ждет всякого, кто осквернит Марсово поле. Здесь коритяне и их соседи рядили пужды

убогой жизни, сюда собирались толпы праздновать свадьбы; сюда в дни торжеств приходили девы с возлюбленными под благодатную сень дерева, чья сокрытую в нем священную силу Марса, и под ним на зеленой траве предавались веселым забавам. Но шли века, и однажды — Эней к тому времени одержал не одну победу — в день, когда умножившиеся толпы стеклись для молебствий и, звонкими голосами оглашая округу, стали готовить все нужное для приношений и игр, с великой пышностью собираясь воздать почести богу, появился Ахеменид с множеством всадников. Радуюсь празднику, они захотели приблизиться к дубу, чтобы поблизи получше все рассмотреть, но по велению жрецов, служителей Марса, их предупредил человек, сказавший: «Кто бы вы ни были, о юноши, остановитесь, не оскверняйте копытом коня священного поля Марса, убоитесь гнева его и здешнего люда». И показал им рубеж, который возбранялось переступать верхом на коне; при этих словах рыцари натянули поводья и замедлили шаг, опасаясь обидеть бога; после чего стали издали наблюдать торжество и поглядывать на собравшихся нимф. Но пока они смотрели по сторонам, Ахеменид верхом на статном темно-гнедом коне, могучий, в прекрасных, сияющих золотом латах, подаренных, должно быть, Энеем, не удержав поводьев, перелетел, никого не задев, через указательную борозду и оказался перед священными алтарями среди праздничного народа и готовивших обряды жрецов; вскинув голову и звонко заржав, конь встал, подобно Пегасу в высоких горах, и ударом копыта взрыл неприкосновенную землю; толпа содрогнулась в ужасе и онемела от удивленья. Но, видя, что все приостановилось, а священная земля попруна копытом коня, они со смятением ропотом обратились к Ахемениду; будь у них под руками камни или оружие, этот день стал бы для героя последним. Но он, не отступив перед ропотом, властно простер руку, и спутники его, ринувшиеся на помощь, уняли толпу; повинувшись увещаваньям жрецов, хотя и пылая негодованьем, она молча приготовилась слушать.

«О священный народ, жители этого края, знайте, что ваши обряды я чту превыше всего; вашему гневу нет причины, хотя есть повод, ибо я не по своей охоте нарушил запрет, а против воли влекомый конем, как вы сами могли видеть; и кто знает, не по внушению ли богов он влечет меня исполнить то, что завещано и чему надлежит

совершиться. Пусть чтимое вами божество будет свидетелем правдивости моих слов; я, чужеземец, призываю его на помощь, и пусть истину оно подтвердит, а ложь чудесным образом покарает. Вы знаете, что боги разнообразны в замыслах и всегда готовят людям то, чего они не предвидят; если вы о том наслышаны, как я полагаю, то не слишком удивитесь моей судьбе и благосклонно исполните волю моего и вашего бога. Я родился от фиванского отца и младенцем в годину бедствий, постигших мой город, матерью его злополучных правителей был отправлен в столицу нарикийского вождя, где и вырос; а когда я последовал за ним, чтобы отомстить за позор ахейцев, то на обратном пути был забыт им на огненном острове и там питался травой, спасаясь от рук обезумевшего слепого Циклопа; и много круговращений солнца провел в ужасных невзгодах. Я оброс бородой и космами, ветхие одежды не скрывали уже моей наготы, и весь я больше походил на зверя, чем на человека; при мне Полифем диким напевом изливал любовь к Галатее, а потом, скорбя о том, что лишился света, еще сильнее распалялся гневом. Много раз я увертывался из-под самых его мерзких рук, щупавших каждый кустик, и не однажды был близок к тому, чтобы своим телом утолить его яростный голод; в страхе и отчаянии, не ведая, что предпринять, я пал на колени среди диких трав и, возведя глаза к небу, простер к нашему богу такие мольбы: «О Марс, тебе служил мой отец, павший у Огигийских гор, и я пошел по его стопам, вступив в жестокие битвы, и продолжил бы его дело, не окажись я здесь, так обрати же сострадательный лик к моим бедам. И если ты наделен той божественной властью, которую воспел Агамемнон, не допусти, чтобы я превратился в зверя или чтобы безоружным был погребен в жестоких недрах Циклопа. Приди мне на помощь, иначе я, не стерпев тоски, в отчаянии сам отдамся в руки, от которых бежал, чтобы смертью положить конец ужасным мученьям».

Проговорив все это, как мне казалось, на ветер, я уже собрался без промедленья лишиться себя жизни, обливаясь слезами от жалости к самому себе, когда горы внезапно расселись, деревья с треском пошатнулись, и грозный голос, подобный тому, что поразил Кадма, взиравшего на дракона, изрек, потрясая слух: «О сын Ионии, сохрани жизнь для высокого жребия. Тебя выручит с острова сын

пашей Венеры, который плывет сейчас в Итальянский край; с ним на полях Лациума в моих доспехах ты стяжаешь дивную славу. А после того в Этрурии, среди народов, угодных мне, ты воздвигнешь стены и храмы, мне посвященные, в том месте, где копь твой, встав, мощным копытом взроет землю пред моим алтарем, который некогда затеплил Дардан под сенью плодосного древа; там ты в угоду мне воссоздашь павшие Фивы».

Скорбной волей я укротил слезный ток и с надеждой долго взирал на волны до тех пор, пока обещанные корабли не приплыли к дикому острову и не увезли к тем полям, где при содействии Марса стяжал предреченную славу троянский вождь и я вместе с ним. Но, верный завету, я расстался с ним, получив дары, и прибыл сюда отнюдь не со злом, как подтвердит вам божественная птица, в лучах Аполлона меня хранящая, но для того, чтобы с миром обрести то, что завещано мне божественными устами и чего я покуда нигде не отыскал. А Этрурия ли это, и это ли алтари, освященные некогда Дардапом, то вы знаете лучше меня, и если это они, значит, путь мой окончен по знаку коня, здесь щедротами Марса нас ждет пристанище, и я прошу без обиды уступить нам поле; а ты, священный бог, опора в нужде, явись и благослови дары, обещанные твоему оруженосцу».

Только Ахеменид промолвил эти слова, как старый дуб дрогнул до основания, светильники запылали ярче, на священном поле запестрели цветы, кони, стоявшие смиренно, вдруг мощно заржали, а сердца людей объят трепет. Тут все жители убедились в чудесной правдивости Ахеменида; не откладывая дела, почтительно заключили с ним мир, и все вместе с еще большим весельем возобновили обряды и игры. А когда наступил конец дня, толпы людей, изъявив герою преданность, отправились по домам. Но неподалеку от того места над приветливыми водами Сарно в просторных домах жила с домочадцами благородная родом и нравом нимфа Корита по имени Сарния, отчего все то место прозывалось Сарнским селением. Услышав о благородном пришельце, она с подругами приветила его на празднике, а потом радушно припала со спутниками под свой кров. Чая навсегда поселиться в обретенной земле, Ахеменид сочетался с ней, еще девственной, браком, и она зажила с ним, довольная таким мужем. А когда он отдохнул от трудов, то обдуманно приказал закладывать новые Фивы; расчислив созвездия,

он, при содействии Марса, воздвиг в его честь стены, поначалу небольшие в охвате, так что только обнес ими священное урочище. А после того как определил места воротам и башням, он срубил древний дуб и на его месте воздвиг Марсу храм круглой формы, украшенный мрамором, до сей поры являющий свое величие. Потом он выстроил улицы, высокие башни и дома горожанам, собрав в стены города и жителей Сарпского селения, и разный окрестный люд, и добрым правлением возрадовал подданных. Уже престарелый и убеленный сединами, видя, что возведенный им город полон народу и что пережившие его спутники тоже обильны потомством, он, довольный, отдал душу богам. Ему наследовал Иолай, старший сын, а тот, в свою очередь, умножившись годами и достатком, передал власть наследникам. Но к ним Фортуна оказалась не столь благосклонна. Одарив их сначала слишком щедрой рукой, она возбудила к ним зависть в коритских соседях; вспыхнула смертная распря из-за рубежей городских владений, и началась междоусобная брань, которую Фортуна не раз, отдернув благословляющую руку, обращала в урон горожанам. Опечаленные, непривычные к бедам, они пали духом; и часто пеняли на гнев небожителей, которых, казалось, не могли умиловить ни мольбы, ни жертвы, и были бессильны уразуметь, за какие грехи обрушился на них праведный гнев богов. После долгих споров они заключили, что рок преследует злополучное имя их города, так говоря: «Богам все еще ненавистно имя Фив, и беды, постигшие Кадмово семя, постигнут и нас: по неосмотрительности мы навлечем на себя ту же погибель, какая суждена была детям того, кто решил все загадки Сфинкса, если надолго оставим городу прежнее имя».

После этого дня, с общего согласия, порешили дать городу новое имя, в надежде убоготворить Фортуны. Но так как на совет собрались люди разного звания, то и желания их оказались различны. Одни желали, чтобы город назывался Маворция по имени чтимого бога, другие говорили, что столь воинственное имя не погасит, а разожжет распрю, и предлагали назвать город Сарния по имени великой жены, третьи желали увековечить имя Ахеменида, четвертые — старейшие — Дардана, и так разошлись во мнении, что ни жребий, ни что другое могло их привести к согласию; видя это, они единодушно

порешили отдаться на суд богов. Но так как в городе воскуряли фимиами не одному только Марсу, а по общему ремесел служили разным богам и всем посвящали по храму, то каждый затеплил свои алтари и благочестиво изрек своему богу просьбы. Клубы дыма рассеялись, и боги, тропутые куреньями, жертвами и мольбами, сошли, как их просили, туда, где сейчас сидим мы с вами. Тут горожанам предстал и Марс во всеоружии среди ярких лучей с огромным багряным щитом в левой руке, и Сатурнова дочь Юнона, величавая осанкой и убором, и сдержанная Минерва в блеске доспехов, и хитроумный Меркурий с жезлом и в крылатой шапочке, а за ними прекраснейшая Венера с открытой взору красой и, наконец, Вертумн, который сбросил личины и принял свой истинный облик. Эти шестеро, как поведала нам седая дрепость, держали совет, но хоть и были исполнены разума, все же не пришли ни к какому решению. Тогда они призвали в судьи Юпитера, и каждый изложил убедительно свои доводы, но и судья, колеблясь, воздержался от приговора. Однако, измыслив способ положить конец спорам, сказал: «Никто не может справедливо судить о том, чья речь мудрее, когда все боги равно одарены красноречием и ученостью. Пусть дело покажет, на чьей стороне правота; кто в деле одержит верх, тому и подобает дать новое имя Фивам. А чтобы это узнать, мы установим такой порядок: каждый возьмет в руки небольшой посох и ударит им в землю там, где стоит; перед кем от удара возникнет самый похвальный предмет, тому и присудим право увековечить желанное ему имя». Сказав так, он встал, божественными руками сломил молодую ветку кизила и разломил ее на шесть частей, каждому дал по одной и повелел ударить; все разом ударили. В тот же миг перед Марсом между травами и цветами разверзлась земля, и оттуда с гудением вырвалось пламя, подобное, быть может, тому, что в клубах дыма являл папим предкам Везувий; не колеблясь, оно сияло и при дневном свете. Перед священной Юноной от легкого удара, как перед Арпоном на водной глади выгнутой дугою дельфин, явился маленький холм и, сбросив листву, засиял чистым золотом. Перед мудрой Минервой, сидящей от нее по левую руку, травы приняли форму одежд, дивных искусной работой и красотой, изменив вид подобно тому, как полотна, сотканые

дочерью Мипоя, за грех против Вакха превратились в виноградные лозы и листья.

С восхищением смотрел Меркурий на то место, куда ударил, ибо, как некогда перед фессалийским юношей па вспаханном поле из змеиных зубов выросли воины, так перед ним возникла из земли всклокоченная борода, острые плечи и все неуклюжее туловище сатира, который, не сказав ни слова, дико озираясь, тотчас уселся. Перед милосердной Венерой вытянулись прямые стебли с яркими зелеными листьями, увенчанные ослепительно белыми цветками лилий, точно волей Феба — побег ладанного дерева над могильным холмом Левкотои. И наконец, как под ударом Нептунова трезубца из земли возник конь, так перед Вертумном возник вислоухий осел, огласивший ревом округу. Рассмеялись боги, а когда смех утих, вопрошающе взглянули на Юпитера, ожидая его решения. Погрузившись в высокие думы, Громовержец размыслил над всем, что увидел, и про себя вынес непререкаемый приговор. Прежде всего он отверг, как недостойного, осла, убогого и ленивого, от которого больше шума, чем толка; потом лилии, хоть и прекрасные, но недолговечные и бранные; сатира, скверного и злобного, неуклюжего видом и любителя пакостить, он счел дурным предзнаменованием; отверг он и одежды, хоть и полезные, но быстро ветшающие, и гору золота за то, что располагает к безделью и вызывает раздоры и беды и только глупцам кажется благородным; и наконец, после долгих раздумий, заключил, что всего полезней огонь, который к тому же вечен и сроден божественным его перунам. Так он и возгласил ожидавшим богам: «О вы, кто вместе со мной пребывает в горных жилищах, окончательным приговором мы даруем честь переименовать этот город воинственному Марсу: он явил дела более замечательные, чем каждый из вас».

Ни малейшего ропота не поднялось в ответ, все, застав дыхание, ждали, какое же имя произнесет Марс. А он от слов Юпитера озарился светом и запылал, но оглядел богов и увидел, что лик его возлюбленной омрачился, ибо она сама втайне пламенно желала удостоиться этой чести. Посмей он послушаться Юпитера, он великодушно уступил бы ей свое право, но, не смея, измыслил другой способ ей угодить.

«Вот мне дана власть избрать городу имя, над которым ломало голову столько людей. Я бы охотно назвал его в свою честь или в честь свойственных мне десяти,

по так как они грозны и папомипают о битвах, я желал бы избрать более приятное имя,— и, взглянув Веспере в лицо, взял в руку ее цветы и продолжил: — Время года и эти цветы располагают к тому, чтобы по ним наименовать город: пусть же отныне он зовется Флоренцией. И пусть это имя пребудет вечным и неизменным в веках. Но так как жители его склонны к битвам и восстают непрестанно против врагов, то залогом побед я оставляю ему свой щит; а для того чтобы согласить мой дар с новым именем, я хочу к его алому цветцу прибавить одну из этих ослепительно белых лилий».

Так он и сделал. От этих слов, а еще больше от дел прояснилось лицо Венеры. Земля вповь поглотила явленное богами, а их самих приняло небо; только Марс явился народу в храме, дабы объявить новое имя, и, оставив щит, довольный последовал за богами в горние сферы. А веселые горожане, лякуя, вознесли хвалы за полученный дар, новыми жертвами восславили своего бога, увеличили число жрецов его храма и учредили в этот день ежегодные празднества, имя города и щит они сочли за доброе предзнаменование и от цветка стали всей душой ожидать дивных плодов. В скором времени жители города ощутили милость Фортуны, и все благородной душой предались высоким делам: расширили сенат, увеличили число патрициев и, выйдя на бой, сбросили тяжкое иго коритян; и раньше силой духа и доблестью они превосходили соседей, а теперь разбили их наголову — так что те едва смели показаться из-за горы; и прочим соседям, если те нападали, они давали отпор. Люцина тоже не оставила города милостями; спустя педолгое время в старых стенах стало тесно, и жители расселились до самого берега Сарно; благоденствие их росло с каждым днем, и вскоре, если не считать Рима и великой Капуи, их город вознесся над всеми италийскими городами. Но Фортуна не долго длит свои милости, и чем выше возносит на своем колесе, тем скорее приуготовляет крушение; не пощадила она и города: как раз когда всем казалось, что дела идут как нельзя лучше, она зажала руку и отказала в щедротах, показав людям, как переменчиво счастье. На горожан напала пемилость Люция Суллы, и многолюдные толпы рассеялись, а богатства пошли с молотка; этот первый удар, как многие предрекали, был лишь началом гибели; покинутый богами, охваченный пожаром, город обратился в пепел, оставив по себе единственный след:

древний храм Марса. И Сарно, видя, что город постигли крайние бедствия, не стал удерживать в берегах своих вод, в досаде на людей за то, что они не призвали его вместе с другими богами на суд, и, дождавшись своего часа, явил долго скрываемый гнев; воды его вздулись и, выйдя из берегов, затопили равнину; замутившись от легкого пепла, осевшего на месте печальных развалин, они понеслись в Океан, там очистились и, радостные, вернулись в свои пределы. В столь плачевном виде город просуществовал до времен Катилины, который был вынужден скрыться во Фьезоле после того, как заговор его был разоблачен Цицероном; Фьезоле о ту пору был могучим городом, как еще и сейчас можно видеть, и укрыл у себя большую часть приверженцев Катилины. Но все они были разбиты на Эпиценском поле, и римские патриции, чтобы положить конец процветанию города, порешили восстановить павшие стены Флоренции. Сюда явились, словно бы для того чтобы пополнить оскудевшие богатства республики, римские вожди: Гней Помпей, Гай Цезарь и прочие; на тесном пространстве они возвели дивные здания, уподобив Флоренцию Риму, и, призвав римские знатные семьи и могущественнейшие из фьезолацких, возвратили городу некогда рассеянных горожан. После восстановления стен имя города вызвало в римском сенате ожесточенные споры, но спорящие не пришли к согласию и в течение века его величали кто так, кто этак. Однако в конце концов он обрел истинное имя, которое удерживает и поныне, и счастливо, но не расширяясь, дожил до времен жестокого вандала, губителя Италии и ярого врага Римской империи, еще раньше обратившись в веру того, кто создал все сущее. Но коварными деяньями подлеящего из тиранов после сражений, еще более кровопролитных, чем прежние, он снова был предан огню; только и осталось от города, что несколько башен и круглый храм; заросший терновником и бурьяном, он оставил по себе не больше следов, чем павшая Троя. Однако после того, как великий предводитель галлов вместе с королем Дезидерием прекратил распри лангобардов, город, с благословения патрициев, был возведен в третий раз; и, населенный ими вместе с фьезолаццами, с тех пор и поныне прозывается своим настоящим именем. И хотя его благополучие не раз пытались разрушить Вулкан ужасным огнем, Фетида — бурными водами, не чтимый более Марс — грозным оружием, Тисифона —

раздорами, Юнона — иными напастями, и не раз он стоял на краю гибели, владения его все разрастались, и, преодолевая невзгоды, он день ото дня становился прекраснее; стены его раздвинулись, и, многолюдный, он переселился на другой берег враждебной реки. А в наши дни, достигнув могущества, какого прежде не знал, занял обширнейшее пространство; управляемый народом, он обуздал спесивую знать и соседние города, чем стяжал себе славу; он и большее совершит, если не помешают тому царянице в нем безмерная зависть, хищная алчность и нестерпимейшая гордыня. В этом городе, в заречной его части, и родились мои предки, а за ними отец мой и я, посящие имя, уменьшительное от слова «подарки». Мой отец, которого нарекли по имени небесных посланцев с алыми и золотыми крыльями, на берегах той же реки женился на моей матери и породил меня, исполненную благодати. В должный срок отдал меня супругу, чей век был недолог, отчего мне пришлось теми же узлами связаться с другим, а как мне с ним живет, здесь не место рассказывать. С самого детства я всей душой предалась Кибеле и по ее наставленьям с луком и стрелами обошла горы и доли, а недавно, сама не ведаю как, возгорелась огнем Венеры. И хотя лицом я не выдала любовного пламени, голос мой бессилён был его скрыть; распевая часто на берегу ближней реки, я полюбила Амето, а он меня, как вы можете видеть. Он невежественный охотник и родился от простолюдина отца неподалеку от моих родных мест; предки его, может быть, за добродетели, носили имя Лучший, а мать его — благородная нимфа. Родители его матери, люди почтенного и старинного рода, проживают на берегах Сарно в нижнем конце города на противоположной отсюда стороне; и если бы у первой буквы его имени была еще одна черточка, то он прозывался бы как зубцы на городских стенах. Но, служа мне, он прозрел от умственной слепоты; я даровала ему свет и обратила к высоким помыслам, к которым он охотно устремился по моим наставленьям; теперь из грубого и неотесанного он стал способен к совершенствованию, кроток и благороден. Вот почему я не меньше вашего благодарна Венере и, подобно вам, чту ее припошёнными и всегда буду чтить.

И, соблюдая заведенный порядок, она запела такие стихи:

О вы, чей разум прозорлив и ясен,
душа чиста, желанья скромны,
и грудь тверда, и пыл в пей неугасен,

достигнуть жаждущие той страны,
в которой средоточие желаний
и вне которой — цели не важны,

послушайтесь моих увещаний
и приобщитесь к истине одной,
достойной неустанных познаний.

Кибела то открыла предо мной,
что заслоняют ложные личины
от слабых взоров мудрости земной;

но ум в божественные те глубины
проникнет, если верой утвержден
и не взыскует видимой причины.

И в них я пребываю испокон
и то, во что я верю без зазренья,
воочью созерцаю без препон.

Я знаю, что двоичность появления
и низких, и высоких дел земных
являлась целью божьего творенья,

я верую, что предваряло их
единосущно и тринипостасно
иное благо в вечностях иных,

и что дитя — природе несогласно —
во чрево девственное снизошло, —
и племя Прометея неподвластно

Плутону стало, победивши зло;
и таково на свет дитя явилось,
что девственности вред не панесло,

и в Иордане в свой черед крестилось,
принявши омовенье от того,
к кому всех боле сердцем обратилось,

явив пачало тайнства сего,
в котором, возрождаясь, мы смываем
грех первородный предка своего;

и крестник сей был мучим и терзаем
и смерть на древе тяжком восприял
за нас, и мы о том не забываем.

Я верю, что из мертвых он восстал,
Дит посрамил — и в небо возвратиться
к отцу решил в венце земных похвал,

о том рекли и лев, и вол, и птица,
и тот, кем благовещена засим
без кривословья каждая страница,

и много прочих сообразно им
повествовали о Его державе
и кистью верной, и пером благим.

Я верую — вернется Он во славе,
и мы ему предстанем все, дабы
то получить, что присудить он вправе;

пророки — небу вознося мольбы, —
Святого Духа силой вдохновенны,
предвозвестили ход его судьбы,

и Дух, Отцу и Сыну равноценный,
равно от них обоих исходя,
сияет вечный, вечно совершенный.

Я верю — церковь, верных ей ведя,
их неспременно выведет из мрака,
и вне ее пет правого вождя,

я подтверждаю также святость брака,
и — что причастие грешников целит,
а исповедь им помогает всяко,

и — что Церера с Бахусом таят
высокий смысл причастия святого,
и этот смысл от слабых глаз сокрыт;

и быть достойным таинства такого
обязан совершающий его,
и звания он должен быть благого.

Так в проповедях звучных ничего
не утаила от меня Кибела,
уча меня для блага моего.

И если б знали суть господня дела
и Аристотель, и ученики,
притом чтоб вера в их душе созрела,—

кому-кому, а им весьма легки
пути бы оказались в царство света,
коль в знанье прочем были высоки.

Как Моисей для божьего обета
приверженцев от мира отвратил,
дабы не знали ложного завета,—

вот так и я, поверив в бога сил,
устремлена душой к его пределам,
храня в груди неистощимый пыл,

и полагаю это главным делом,
и прославляю господя везде,
горда и польщена таким уделом,

и, следуя ведущей мир звезде,
душой благой, уверенной и ясной
я счастья не смогу найти нигде,

как только в нем, и чистой, и прекрасной
ему я вверю душу,— тем скорей
с Кибелой повстречаюсь сладкогласной,

всевечно в небесах ликуя с ней.

XL

Покуда нимфы рассказывали, Лия молча внимала.
Теперь наступил ее черед, и, любуясь ею, Амето спра-
ведливо хвалил ее повесть; но о том, что будет дальше,
боялся и думать, каждый миг со страхом в груди ожи-

дая услышать: «Пойдемте». Зной уже спал, и все дамы, раздумывая, что делать дальше, выжидательно смотрели на Лию, распорядится она продолжать или скажет, что время прощаться. Но тут их взгляды были привлечены другим: по небу, поднявшись, должно быть, с ближнего берега, летело семь белоснежных лебедей и столько же журавлей; с великим шумом, застилая крыльями небо, они вдруг остановили полет. Вглядевшись, нимфы и Амето увидели, что птицы разделились на две стаи и жестоко бьются, сшибаясь грудью, клювами и когтистыми лапами; воздух казался полон перьев, как хлопьев снега в ту пору, когда Аполлон входит в созвездие Юпитеровой кормилицы; но после долгой битвы побежденные журавли улетели. Амето зрением не умел еще постигать божественный замысел и, удивленный, гадал, что знаменует собой эта битва, любопытствуя, куда повернут победившие лебеди; но вдруг неведомый свет излился с неба. И как пред израильским народом в пустыне, так пред ними вслед за дивным мерцанием опустился столп света, за которым остался след, видом точь-в-точь как дочь Фавманта. Едва столп опустился, как Амето отвел взгляд от семи лебедей, не в силах вынести блеска, подобно Фазтону, когда тот, явившись впервые пред очи отца, оглушенный и чуть не ослепший от грома и блеска, перепугался и прынул назад; что означал этот слепящий столп света, Амето был не в силах уразуметь. Но недолго он ждал, ибо его ушей вдруг достиг певный голос, промолвивший:

XLI

Я — свет небес, единый и тройчатный.
я есмь начало и конец всему,
и все постиг мой разум необъятный.

Я — истина и благо; посему
за мною поспешающий избудет
и путь печальный, и стези во тьму,

и к ангельским урочищам прибудет,
где, вечные сокровища храня,
я их тому отдам, кто стоек будет.

Кто обо мне речет и для меня,
стремясь умом и сердцем к высшей цели,
презрев мирской соблазн и злобу дня,

которые от века власть имели
над душами, того я в свой черед
в моей очищу пламенной купели.

Живите с миром, п пускай цветет
надежда в вашем благородном круге,
не грозен громозвучный мой приход

и свет высокий в темной сей округе.

XLII

Ободренный речью, Амето постиг, что Венера не та богиня, которую глупцы призывают в разнузданном любострастии, а та, что одаряет смертных истинной, праведной и святой любовью. И нимфы показались ему еще прекрасней, чем прежде, их проясненные лики обращены были к свету и озарялись им так, что порой он опасался, как бы они не воспламенились, особенно Агапея и его Лия. Но радость на их лицах прогнала от него опасенья, и, папягая взор, он вместе с ними силился проникнуть зреньем столп света. Но как ни трудно ему было, все же, подобно тому как в пламени вдруг удается различить горящие уголья, так он увидел наконец свтящееся тело, затмевающее разлитый кругом блеск. Как раскаленное железо, выхваченное из горнила, оно рассыпало вокруг себя множество искр, и от них вся окрестность сияла светом. Но сам божественный образ ее и очи он так и не мог разглядеть; и вдруг, покуда он напрягал зренье, богиня возговорила:

XLIII

О сестры драгоценные, вестимы
немногим в царстве мое врата,
чтоб их достичь — крыла необходимы.

Усердность ваша явственна, чиста,
добра, свята, пряма, полна привета,
похвальна, добродетельна, проста,

от слепоты уберегла Амето,
и созерцать обрел способность он
мои красоты — средоточье света;

и для того был в тайны посвящен,
чтобы друзьям с пристрастьем и стараньем
смог описать столь сладостный полон.

Глядите ж на него — ведь он желаньем
постичь меня воспламенен стократ,
но не умеет совладать с пыланьем,

земною дрожью будучи объят.

XLIV

Едва смолкли божественные слова, нимфы поднялись и подбежали к Амето; он же, ошеломленный явленьем Венеры, и не почувствовал, как его схватила за руку Лия; в тот же миг она совлекла с него убогое платье и окунула в прозрачный источник, в котором он весь омылся. А когда скверна сошла с него, Лия чистым передала его в руки Агапеи, и та вернула его на место, где он стоял пред очами богини; там Мопса краем одежды отерла ему глаза и сняла с них пелену, скрывавшую Венеру от его зренья. А Эмилия радостно и заботливо доброй рукой обратила его взгляд к лику богини; тотчас Акримония наделила силой проясненное зрение; Аднопа набросила сверху драгоценные покровы; Агапеядохнула ему в уста и зажгла неизведанной силы огонь. Убранный, прекрасный, сияющий ясным светом, он радостно обратил взор к священному лику и, дивясь несказанной его красоте, испытал то, что ахейцы при виде волопаса, обернувшегося Язоном. Созерцая богиню, он говорил про себя: «О богиня Пегасова, о высокие Музы, укрепите мой слабый ум, позщите меня в лице зренья богини так, чтоб я мог выразить словами эту божественную красоту, если смертному языку дано об этом поведать, хоть и боюсь я, что напрасно тщусь удержать в душе зримый образ».

Долго взирал он на богиню, и чем дольше вглядывался в ее облик, прекраснее которого не видел, тем более прозревал; по какой срок отпущен ему для

блаженства, он не ведал, хотя желал бы, чтобы оно длилось вечность, и потому взмолился:

— О священное божество, единый свет небес и земли, если ты доступно мольбам, взгляни на меня и ради твоего святого и невыразимого тройственного имени не откажи мне в помощи: бессмертной рукой даруй то, о чем я молю. Вот пред тобой душа, которая великодушно с горних высот сведена тобой в эту брэнную оболочку, откуда она пламенно желает к тебе вернуться; до этого самого дня, памятного навеки, душа моя вся пылала огнем, превыше всего радуя и услаждая Лию, а сегодня, предвестьем сего благого мгновенья, семь раз душа моя была охвачена пламенем так, как вяз охвачен цепким плющом. Но это пламя не сушит жизненных соков и не лишает силы, поэтому я не чувствую боли и не хотел бы его погасить водой; напротив, оно нудит меня раствориться в тебе и быть вечно с тобой. Дай же мне силу выдержать это пламя; пусть любовь моя станет неотделимой от меня и долговечной, пусть пощадят ее судьба и небо, и пусть их лики всегда предстают мне такими, какими они сегодня меня пленили, чтобы я, угождая прекрасным, мог в остаток дней моих помечать каждый белым камешком; а когда Атропос, по общему закону, отторгнет меня от них, пусть моей душе беспрепятственно будет указан путь в горние выси, откуда она сошла, дабы за все тяготы я удостоился чаемой награды в твоих вышних владеньях.

А когда смолк, в ответ услышал такую речь:

— Веруй в нас — и познаешь благо, и да исполнятся твои упованья.

И с этими словами богиня исчезла в небе, и сиянье померкло. А блистающий новым убранством Амето, обрета признанье покоривших его красавиц, увидел себя сидящим в их кругу и, принимая от них почести, гордился собой. Только богиня пропала, как все, радостно окружив Амето, ангельскими голосами запели:

XLV

О ты, душа счастливая, благая,
среди сущих и рожденных в добрый час
блаженней ты, чем всякая другая;

и здесь ты видишь каждую из нас,
стократ затмившую красой прекрасной
всех в мире проживающих сейчас;

так в небесах сверкающей и ясной
звезда любая мнится в дни весны,
с Титаном схожа чистотой алмазной.

В дни первые мы были рождены
любовью той божественного лона,
чьи силы высочайших благ полны;

мы призваны затем, чтоб без урона
доставить благо это в мир слепой,
не знающий порядка и закона.

И каждая, воспламенясь тобой,
душою влюблена в твои улады
(а Цитерея — светоч для любой).

И ты пас не лишай своей награды,
и мысли добронравные внуши,
и разума открой благне клады,

и скольким же возлюбленным — реши —
мы дать могли б любви взаимной сладость,
сумей они коснуться струн души;

в груди своей ты ликом наших младость
запечатлей и ощути до дна
их вечную плесительность и радость;

и в них ты силу обретешь сполна
перебороть любовные напасти,
и твердость будет в том тебе дана.

И той любовью — коль постыдной страсти
не покоришься — вечно будешь пьян,
с годами множа меру пылкой сласти;

тебя мишует всяческий обман
(житейской суеты обременитель),
тебе же уготовивший капкан.

Однако нам пора в свою обитель,
вот-вот сюда придет почная тень;
но мы вернемся, если вседержитель

опять вернет на землю божий день;
и лицезреть тебе позволим снова
себя — очам желанную мишень.

Хоть мы под сень уйдем почного крова,
однако же не разлучим сердец —
и в том союза нашего основа;

и ты дождись, когда мы наконец,
к тебе благоволя, тебя доставим
туда, где всякой радости венец,

где будешь ты пред божьим ликом славим.

XLVI

Украшенный, Амето с радостной душой слушал пение нимф и постигал куда больше, чем прежде, слухом внимая пению, а сердцем погрузившись в отрадные мысли. Он сравнивал свою прежнюю простую жизнь с нынешней и со смехом вспоминал, каким был; как праздно растрачивал время в охоте среди дриад и фавнов, как испугался собак, потом посмеялся над пылким своим желанием узнать, что такое хвалимая всеми любовью; и ясным умом проник в истинный смысл той первой песни, что услышал от Лии. Ощутил, какая великая польза сердцу в тех пастушеских песнях, которые прежде только тешили его слух. По-инному он увидел и нимф, которые прежде радовали ему зренье больше, чем душу, а теперь душу больше, чем зренье; понял, какие храмы и каких богинь они воспевали и о чем были их речи; а припомнив все это, немало устыдился сладостных мыслей, обуревавших его, покуда текла их повесть; он понял и какими были те юноши, которых они любили, и какими стали благодаря любви. Только теперь он должным образом разглядел одежды и нравы нимф. Но больше всего возрадовало его то, что они открыли ему на все это глаза и позволили увидеть святую богиню, узнать Лию и в новом убранстве обрести способность любить столь-

ких прекрасных и стать достойным их любви: из дикого зверя они обратили его в человека. От всех этих мыслей он почувствовал столь несравненную радость, что, любясь то одной, то другой нимфой, едва они кончили песнь, сам запел:

XLVII

О триединый свет единосущный,
земли и неба разум и оплот,
дарящий нам любовь и хлеб насущный,

дающий звездам сообразный ход,
а государю их — круговращенье:
заход к ночи, а поутру восход,

горячее прими благодаренье, —
тебя и милых нимф боготворю
и посвящаю вам души горенье.

Я пылко так за то благодарю,
что ты пришел, не погнушавшись мною,
и я тебя, непосвященный, зрю,

что, пренебрегши мерзостью земною,
явил мне волю в надлежащий срок,
грозящую мирскому злу войною;

пускай туман мне душу заволок,
пускай сиял ты в дальнем эмпирее,
но Мопса прорекла мне твой урок.

Эмилия затем, чтоб я быстрее
пришел к святому лику твоему,
держала речь, подъяв меч Астрей.

И много помогла еще тому
та, что хвалила доблести Помоны,
и я к прозренью ближе потому;

затем преподала твои законы
мне Акримония, и я обрел,
тебя познав, мирской тщете заслоны.

И Агапеи пламенный глагол
меня сподобил огненного света,
и я узрел, пылая, твой престол.

А та, что всех прелестнее — Фьямметта —
велела мне, тобой вдохновлена,
во всех делах в тебе искать совета.

Со мною схожа, ласкова, ясна,
мне Лия указала смысл подспудный —
и я в него уверовал сполна.

И ты, всевиденьем и силой чудный,
направь мой ум с собою заодно,
чтоб среди лучших был я к вехе судиой;

да будет навсегда утверждено
в моей душе твое святое имя,
и пусть в веках прославится оно.

Такая ж слава да пребудет с ними,
которых за любовь и доброту
превознесу я песнями своими.

И коль необходимым я сочту
потомкам песни жаркие оставить
и юных нимф прославить красоту,

ты сделай так, чтоб злоба строк ославить
не смела бы, не переврал бы лжец
и чтоб невежда не дерзнул исправить

(переплети их в шелк или багрец,
дабы — красиво скатанные в свитки —
в чужой стране их не разъял глупец),

не дай в них женкам завернуть пожитки,
которые на грош приобретут,
полученный за проданные нитки,

пусть на припарки их не раздерут
целители, не знающие дела,
не тем здоровье хворому вернут,

не допусти, чтоб зло и закоснело
была твоя краса искажена,
когда перекроют их неумело.

И если жизнь им злая суждена,
то лучше пусть избегнут горькой долц,
в веселые поавши пламена.

Вручаю их твоей небесной воле,
душа пылает — но кончаю речь;
от милых дони бреду к своей юдоли,

дабы желать и жаждать новых встреч.

XLVIII

Умолк Амето; потянулись по домам со своими овечками пастухи, резвые птицы укрылись на почь в густых ветвях, уступив место петопырям, рассекающим туманный вечерний воздух; не слышно было цикад, но пронзительно верещали кузнечики из трещин сухой земли, уже виднелся Геспер в теплых лучах закатного Феба, и вслед за ним возжелал покоя ленивый Зефир. Посвежело, и нимфы, подхватив одежды, венки, луки и стрелы, любезно простились с Амето и отправились по домам. А он, навеки запечатлев в груди их облик, все узнанное твердил про себя и сетовал на скорую разлуку, но, в надежде на новую встречу, радостный расстался с ними и вернулся домой, пылая любовью.

XLIX

Среди весенней пышности и пыла,
в лугах благоуханных и густых,
в тени дерев даровано мне было

увидеть нимф прелестных и младых
и слушать песни дивные украдкой
и про любовь, и про любимых их.

И, трепетно внимая речи сладкой
и нежным херувимским голосам,
звучащим слуху нашему загадкой,

и восхитительным дивясь глазам,
снявшим столь же дивно и лучисто,
как звезды с поднебесья по утрам,

я ощутил, что запылал пречисто
Амур в груди взволнованной моей
(его доселе я не знал почти что);

неудержимый в дерзости своей,
он душу мне наполнил красотой,
и песнями, и музыкой речей,

и тотчас я охвачен был мечтою,
стремительным волнением в крови
и нежностью сладчайшей и святою.

И вот, для новой возродясь любви,
которая раздула жар дремавший,
годами ждавший — только растрави, —

и, сердцем загоревшимся познавши
их благо, свыше посланное мне,
я пламень в нем узнал, меня снедавший,

и, поначалу чистое вполне,
смешалось благо с пламенным влеченьем,
и оказался я в тройном огне,

и радостью я полон, и мученьем,
и радуюсь, ловя условный знак
иль жаркий шепот слыша с вохищеньем,

и мучаюсь — не обрета никак
того, что запрещеннее запрета,
хоть мне и без того достало благ.

Так постигал я своего Амето,
порывы и желанья его,
взиравшего на совершенство это

столь жадно, что порой, боясь того,
что нимфам в тягость пристальные взгляды,
я прицал героя моего,

завидуя счастливцу; из засады
я было выйти даже захотел,
но остерегся — вдруг не будут рады.

И я терпел такой порядок дел,
пока он верховодил в том собранье
и был в сужденьях и словечках смел;

и горечь превращалась в ликование,
едва прелестный лик одной из них
иль пение влекли мое вниманье.

Но близилась чреда часов почных,
и вот луна из Ганга появилась,
и солнце скрылось в пропастях земных,

и вереница пимф поторопилась
допеть последний сладостный папев
и в свой приют укромный удалилась;

я ж вышел из укрытья, просидев
весь день украдкой в потаепном место,
откуда созерцал прелестных дев.

И вышли в небо звезды честь по чести,
и, пажных нимф очами проводив,
ушел и я — уы! — не с пими вместе.

И пусть ответит тот, кто прозорлив,
не сожалел ли я о расставанье,
не поступил ли сердцу супротив?

Тут — красота, сиянье, обаянье,
приятны речи, безупречна честь,
тут сердца и ума соревнованье,

тут во спасенье людям средство есть,
оно — в любви, здесь неумна младость,
веселье тут в избытке, здесь не счастье

утех мирских, которых вкус и сладость
я ощущал, а там, куда иду, —
тоска царит и невозможна радость.

Там смех услышишь разве раз в году,
там темен дом, и мрачен, и печален,
и в нем я жизнь затворника веду;

там, в лабиринте мрачных зал и спален,
дрожаний, жадный, дряхлый скопидом,
и я ему все больше подначален;

и каково ж вернуться в этот дом,
в постылую вовлечься немипучесть
и сладкий горьким заменить плодом!

О, сколь счастлива и завидна участь
того, кто может быть самим собой
и волен жить, оковами не мучась!

О, сколь Амето ублажен судьбой
и награжден таким высоким чином,
какому позавидует любой;

простолюдин, он полным властелином
в кругу прелестниц дотемна царил
и зритель был пленительным картинам.

А я, душой и скорбел, и уныл,
к себе вернулся; ожидая худа,
измыслил пару оперенных крыл,

чтоб к смерти мчать, ее молю покуда
явиться мне решеньем всех скорбей —
какое же еще на свете чудо

конец положит маете моей?

L

Пущенная из моего лука стрела в стремительном полете коснулась цели; и белые голуби, кормившиеся на приволье в полях, весело возвращаются в башни; усталые кони, окончив бег, просятся на покой; так и моя повесть, ведомая через равнины, из опасения познать печальную участь Икара, пришла к концу. Пусть же примет сей фимиам святая богиня, подавшая мне помощь в трудах;

а заслуженный венец да увенчает чело той прекрасной, что подвигла меня взять в руки перо. И ты, о единственный друг, истинной дружбы истиннейший пример, о Никколо ди Бартоло дель Буоно ди Фиренце, чьи достоинства не под силу воспеть моему стиху, и потому я умолчу о них, хотя они и без того сияют так, что в моих стараниях нет нужды, прими же от меня эту розу, расцветшую среди шипов моих горестей; когда я был подавлен невзгодами, с трудом из диких зарослей извлекла ее флорентийская красавица и наградила меня краткой отрадой. Прими ее так же, как от Вергилия добрый Август, или Геренний от Цицерона, или от Горация его Меценат принимал драгоценные строки, и вспомни совет Катона: когда бедный друг подносит тебе скромный дар, прими его с радостью. Тебе, доблестному, я посылаю ее, ибо ты один, Никколо, для меня Цезарь, Геренний и Меценат. И если среди лепестков этой розы ты отыщешь изъян, знай, что тому виной не дурпой умысел, но малое умение. Поэтому я вручаю ее на суд и исправление матери и наставнице нашей Святой Римской Церкви, мудрецам и тебе. Храни ее, как свою, на священной груди, где всегда с неизменной любовью ты хранишь того, кто ее создал; оставленную далекой госпожой, утешь ее нежным голосом, пока она не ощутит во всей полноте свою радость.